

22.261к

# КОМЕРТУВ

---



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗ БИБЛИОТЕКИ

поэта

*Дмитрия Николаевича  
Семеновского*

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

З ТМО Т. 3.600.000 З. 1653—91

„Исследования и заметки“  
и статьи о Горьком.



*У. Смирнов и*

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# КОЛЛЕКТИВ

Альманах второй



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИВАНОВО

1939

У, Смирновский

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# КОЛЛЕКТИВ

Альманах второй

Типография  
изд-ва Ивановского облисполкома  
Иваново, Типографская, 4.

---

КНИГА ПРОСМОТРЕНА.  
КОНТРОЛЕР №

---

При недоброкачественном выполнении работ ссылайтесь на номер контролера. Замечания направляйте вместе с приложением настоящего ярлыка.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИВАНОВО

1 9 3 9

В альманахе «Коллектив» входят воспоминания и стихи о М. Горьком Дм. Семеновского, М. Бритова, А. Благова. Кроме того, помещены рассказы и стихи М. Шошина, В. Полторацкого и др. о мужестве и преданности своей родине наших советских людей.



~~~~~  
Редакционная коллегия: А. Благов, М. Бритов,  
А. Князев, В. Полторацкий, М. Шошин.

М. Бритов

## Максим Горький

Уходит в сумрак гибкая дорога.  
 Под чуткой пылью стынет тишина.  
 Над тополями медленно и строго  
 Всплывает ущербленная луна.

Неслышно вечер покрывает горы  
 Прозрачную лиловой пеленой...  
 Высокий берег. Тяжко дышит море  
 И лижет камни вспененной волной.

Луна бледнеет, в море догорая.  
 Качает звезды темная волна.  
 Под черным небом — без конца, без края —  
 Раскинулась безмолвная страна.

\*

Глухою ночью, утром рано-рано,  
 Полями, берегами вольных рек,  
 Сквозь зной, дожди, угрюмые туманы  
 Проходит одинокий человек.

Дорожный посох отмечает версты.  
 Котомка лямкой стискивает грудь.  
 Глоток воды и хлеба ломоть черствый,  
 Короткий отдых — снова дальше, — в путь!

Леса, деревни, хмурые пригорки,  
 Немая степь — дорога без конца.  
 Увидеть все, понять, он смотрит зорко-зорко,  
 Все давит душу тяжестью свинца.

Забитая, покорная Россия  
 Лежит пред ним в смиренности нищеты:  
 Избенки одряхлевшие, косые,  
 На кладбищах понурые кресты.



Боль матерщины, пьяные рыдания  
У кабаков, бессильный женский вой.  
Когда ж конец терпенью и страданью?  
Качает запыленной головой.

Здесь об руку с голодною тоскою  
Идет тяжелый подневольный труд.  
О, царство гнета, рабского покоя!  
Живут без радости, с проклятьями умрут.

Не то! Иную родину он ищет,  
Готовую к безжалостной борьбе.  
В полях бездомный ветер злится, свищет  
О тягостной, безрадостной судьбе.

Вот, трепеща озябшими крылами  
И пропадая в солнечной дали,  
С курлыканьем, над голыми полями,  
Спешат на юг, тоскуя, журавли.

И долго-долго напряженным взором  
Он провожает вольных птиц полет:  
— Когда ж над этим тягостным простором,  
Как солнце, — день безгорестный взойдет?

Безлюдье, тишь... Неласково, сурово  
Шуршит колючая осенняя трава.  
О жизни светлой, радостной и новой  
Рождаются призывные слова.

Он бодро в даль туманную стремится,  
Он ищет счастья — он его найдет!  
... Веселые и радостные лица —  
В труде воскрес его родной народ.

Его встречают в родине любимой  
Свободной песней счастья и любви.  
... Мечты, как вихрь, несутся мимо-мимо,  
Тоска стучит прибоями в крови.

В глазах рябит. Печалью умиранья  
Горит осенний радужный пейзаж.  
Случайный спутник дальнего скитанья,  
Ведет беседу сумрачный Челкаш.

Дым горьковатый у костра степного.  
Он до утра сомкнуть не смеет глаз.  
В далекий мир забытого, бывшего  
Его ведет пленительный рассказ.

И отсветы багровые ложатся  
Пугливой тенью на седой ковыль.  
Слова, как искры, в воздухе кружатся,  
Слова прекрасных сказок Изергиль.

В бессмертья тяжком мучается Ларра.  
В любви безмерной Данко сердце жжет.  
Борьба — набатом грозного пожара  
К себе скитальца вольного зовет.

В ночлежках мрачных, на больших дорогах,  
В крикливом шуме грязных площадей,  
В кабацком гаме, в пасмурных острогах  
Он ищет Человека средь людей.

\*

Он ищет тех, кто путь ему укажет,  
Тернистый путь надежды и борьбы,  
Кто слово правды пламенное скажет,  
Чтоб в бой пошли восставшие рабы.

Мелькают вновь дороги, перекрестки,  
Лесов, степей бескрайняя кайма.  
Лицо стегает вихрем ветер жесткий,  
И расступается ночная тьма.

Гудок заводский хрипло утро будит, —  
С окраин — из каморок и лачуг  
Потоком мощным двинулись люди,  
И трепетно забилося сердце вдруг.

Быть струйкою в взволнованном потоке,  
С ним безраздельно слиться навсегда.  
В борьбе упорной, страстной и жестокой  
Пройти всю жизнь под знаменем труда.

Кружки, подполье, тайные собранья,  
Листовок пневных жгучие слова,  
Жандармов слезка, обыски, свиданья...  
От мыслей, чувств пьянеет голова.

Густая ночь под кровлею шершавой  
Спустилася беззвездной пеленой.  
И в эту ночь рождалась робко слава,  
Чтоб загореться над родной страной.

Убогий стол. В раскрытую тетрадку  
Бросает лампа неуютный свет.

Спадают волосы к бумаге в беспорядке,  
Он рвет листы: не то, не ладно, нет!

Несутся буйным хороводом мысли,  
Не успевает быстрое перо.  
Махорка тучей над столом нависла,  
Ложатся строки, торопясь, пестро.

В окно рассвет неласковый глядится  
Прохладой грустной раннего утра.  
Бежит перо. Окончена страница, —  
И в жизнь пришел цыган «Макар Чудра».

Дымится папироса из махорки,  
Прижата к лбу затекшая рука,  
И подписью как вызов:  
«Максим Горький.»  
Легла на лист последняя строка.

---

Дм. Семеновский

## Бессмертное слово

Был скуден свет оплывшего огарка,  
И не давалась грамота глазам,  
Но как зато восторженно, как ярко,  
Читая книгу, он светился сам!

Сухой листвою страницы шелестели,  
И в глухо затаившейся тиши  
Он забывал о синяках на теле  
И о жестоких ссадинах души.

Он забывал о брани, о побоях,  
О жизни «в людях», жуткой, словно бред.  
Свеча сгорала. Немо на обоях  
Плясали тени. Подступал рассвет.

И в полумраке утра пред Алешей  
За книгою, зачитанной до дыр,  
Не повседневный, а другой, хороший,  
Такой манящий, раскрывался мир.

Пускай он был лишь вымыслом красивым, —  
Бессмертный разум, скрытый в строчках книг,  
Дал крылья соколиные порывам  
И новых мыслей разбудил родник.

Так рос писатель. Вдумчивый и зоркий,  
Он шел по жизни, с миром говоря.  
И вся земля узнала имя: «Горький»  
И песни самоучки-волгара.

Вершиною высокой встав над веком,  
Умов властитель, слова чародей,  
Будил он в людях гордость человеком  
И возносил хвалу труду людей.

Живое чудо творческого дара  
Он слил с непримиримостью бойца, —  
И пламенным посевом западала  
Речь ненависти и любви в сердца.

Его душа к врагам была сурова,  
Соратников он грел своим теплом.

Мы, молодые подмастерья слова,  
Росли под крепким горьковским крылом.

\*\*

Помню май, дождей алмазных капли,  
Луговых туманов кисею.  
Помню строки с Капри,  
Юность озарившие мою.

Как благоуханье клейких почек,  
Как напевы первых птиц и пчел,  
В жизнь мою вошел тот щедрый почерк,  
Дружелюбный голос в сердце мне вошел.

Этот голос бодрого привета,  
Буйным хмелем радости пьяня,  
В праздничном призвании поэта  
Утверждал уверенно меня.

И, бродя по рощам и пригоркам,  
Полевых тропинок меря тесьму,  
Благодарно думал я о Горьком,  
Льнул душой к чудесному письму.

Он покинул берега чужбины,  
Зыбкую морскую бирюзу.  
Он вернулся снова в те равнины,  
Где пророчил бурю, поднимал прозу.

Он вернулся, дум людских властитель,  
Вновь набраться силы у родной земли.  
Золотые солнечные нити  
От него по всей планете шли.

До рассвета лампа на столе горела.  
Он писал, не чуя, как часы бегут.  
Затаив дыханье, ночь смотрела  
На подвижнический труд.

Нет его, но слышу, как впервые,  
Глуховатый голос, выговор на «о».  
Вижу ясно все черты живые  
Памятного облика его.

Как цветы в лугу, росой одетом,  
Раскрывает утра свежий час,  
Сердце раскрывалось под лучистым светом  
Прозорливых глаз.

Смерть его — бессмертия начало.  
Пламенного слова не убить!  
Слово уст умолкших отзвучало —  
Слово в книге вечно будет жить.

А. Благов

## Буревестник

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ

Мы утра не знали,  
Не видели дня,  
Под гнетом сгибая плечи;  
Мы глаз утомленных  
Не смели поднять  
Весенней заре навстречу.

Мы, дети труда,  
Капитала рабы,  
Не знали, убитые горем,  
Что где-то мятежную песню борьбы  
Гремел буревестник над морем.

Могучие крылья  
Он в бурях растил,  
Смеялся над мглою дикой,  
Но ветер насилья  
От нас уносил  
Призывные смелые крики.

Мы мертвой поры  
Торопили полет;  
Молчали и ждали чего-то:  
И в буре и в пламени Пятый год  
Глухие раскрыл ворота.

Бурливое время,  
Широкий размах,  
Свободной весны начало, —  
То пел буревестник  
В рабочих сердцах,  
Страна из потемок вставала.

Мы помним безумство и злобу врагов,  
Навек потерявших опору...

Мы шли под ружье  
От полей и станков  
Кровавые мерить просторы.

Мы знали, мы ждали:  
В пожаре войны  
Истлеют лохмотья былого,  
И гневом пройдет по дорогам страны  
Вождя-буревестника слово.

Все ярче цветут в нашем вольном краю  
Заводы, посевы и песни;  
Недаром мятежную песню свою  
Нам смелый пропел буревестник.

*Дм. Семеновский*

## А. М. Горький

### ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ

Вспоминается мрачное здание семинарского общежития, длинные коридоры, неуютные комнаты, всегда полные разноголосого шума и гама. Вспоминается заветная тетрадь в клеенчатом переплете, которую я, ученик четвертого класса, тайком от начальства заполнял рифмованными строчками. Лучшие свои стихи я послал в рабочие газеты «Невская звезда» и «Правда». Стихи были напечатаны, но я об этом не знал, так как большевистские газеты до нас не доходили. Семинарское начальство тщательно ограждало учащихся от всякого живого веяния. Особенно свирепо преследовались антирелигиозные книги. Но молодые умы не мирились с мертвой схоластикой, которая выдавалась в семинарии за науку, и упрямо стремились к настоящей науке, к подлинному знанию. Несмотря на запрещения и репрессии, недозволенные книги в семинарию все же проникали. Жаждавшие живого слова читали их и в одиночку, и коллективно, собираясь в архиерейском монастыре, в камерке знакомого певчего. Возвращаясь после таких запретных чтений в семинарию, слушатели этого маленького тайного «университета» особенно остро ощущали гнет семинарских стен, особенно жгуче ненавидели полный сухой казенщины бурсацкий режим.

Все это происходило в конце 1912 года.

То было время, когда Россия после временного торжества реакции вступила в полосу революционного подъема. В ответ на ленский расстрел по стране прокатилась мощная волна стачек, митингов и демонстраций протеста. Новые, революционные настроения залетали и в затхлые стены бурсы. Незадолго до рождественских каникул семинаристы устроили забастовку. Пятьсот рослых крепких бурсаков, прервав занятия, собрались в актовом зале, выгнали вон приехавшего архиерея, ректора семинарии Соболева и инспектора Скворцова. Затем, укрепив в дверных ручках швабры, бурсаки устроили сходку.

Семинарское начальство проявило в усмирении забастовщиков чисто жандармскую решительность. В актовый зал были введены солдаты, раздалась отрывистая команда:

— На при-цел!



Испытывая крепость бурсацких нервов, отряд направил на толпу дула винтовок. Стрельбы, однако, не последовало.

После этого наиболее активные забастовщики были арестованы и под конвоем городских отправлены к губернатору. Дряхлый старик, губернатор Сазонов, топая на арестованных короткими ножками и брызгая слюной, визгливо кричал:

— В остроге сгною! На дне моря сыщу!

Было исключено много народу. Семерых начальство по этапу выслало из Владимира в родные села. К злополучной семерке был причислен и я. Как и другие, я получил волчий билет.

Пути к дальнейшему образованию оказались для нас закрытыми.

Эта варварская расправа в условиях дореволюционной России не была чем-то необычным. За год до семинарской забастовки такая же печальная судьба постигла группу занимавшихся самообразованием владимирских гимназистов.

Усердные руки царских чиновников в мундирах и рясах с неслыханным бессердечием вырывали из среды учащейся молодежи самых протестующих, самых пылких, пытливых и одаренных, обрекая их на жалкое существование.

Зима прошла для меня в скитаниях по родственникам и знакомым и в писании стихов. Товарищи поступали в псаломщики, некоторые мечтали подготовиться на аттестат зрелости. Мне тоже нужно было зацепиться за что-то, найти в жизни свое место. Но идти в псаломщики я не хотел, а других перспектив — кроме сочинения стихов — не было.

В этот переломный тяжелый момент моей юности потянуло меня к Горькому. Причина влечения заключалась не только в огромной популярности его имени. Бодрый, протестующий тон его книг был созвучен тем настроениям, к которым я приобщился в тайном семинарском кружке, и еще раньше...

Я знал, что Горький живет на Капри, что он редактирует беллетристический отдел выходящего в Петербурге марксистского журнала «Просвещение». Почему-то верилось, что он не только может дать оценку моим стихам, но и вообще посоветует, как мне быть.

И вот я послал Горькому через журнал «Просвещение» несколько стихотворений.

В короткой приписке к ним я спрашивал Алексея Максимовича: есть ли у меня талант и где можно учиться девятнадцатилетнему человеку, лишенному права поступления в средние учебные заведения России?

Я писал это 1 мая 1913 года. В то утро за чаем знакомый, у которого я гостил, — служащий приволжской фабрики, — блеснув на меня очками, сказал:

— Урядник требует, чтобы вас здесь не было. Через две-три недели по Волге поедет царь, — начальство убирает с его

пути всех неблагонадежных. Вам надо будет отправиться домой, к родителям...

В предвидении своего отъезда я просил Горького ответить мне до 15 мая.

Ответ к этому сроку не пришел — и я уехал к отцу, забыв о своем письме.

Но в конце мая старичок-рассыльный принес в наш сельский дом пакет, который пересылал мне мой знакомый. Бросился в глаза почтовый штемпель: «Капри». Сильно забилося сердце. Я нетерпеливо вскрыл конверт. Письмо Горького было большое и сердечное.

«Стихи ваши показались мне недурными», — писал Алексей Максимович, — «я послал их «Просвещению», где они, наверное, будут напечатаны. Присылайте еще...

«Искра божья у вас, чуется, есть. Раздувайте ее в хороший огонь. Русь нуждается в большом поэте. Талантливых — не мало, вон даже Игорь Северянин даровит! А нужен поэт большой, как Пушкин, как Мицкевич, как Шиллер, нужен поэт — демократ и романтик, ибо мы, Русь, — страна демократическая и молодая.

«Ищите себя. Всех слушайте, всех читайте, — никому не верьте и везде учитесь. Сим и можете победить.

«Куда вам поступить учиться? Ну, в этом я вам не советчик, не знаю куда. Но — пишите мне почаще, что-нибудь надумаем.

«До 15-го мая не успел ответить, извиняюсь.

«Будьте здоровы, берегите себя, не увлекайтесь пустяками серьезно...»

Предостерегая меня от увлечения модным тогда модернизмом, Алексей Максимович предлагал ряд советов. И прибавлял в заключение:

«Вот как я, целую проповедь написал вам, а вам, поди-ка, этот род литературы и в семинарии надоел?»

«Желаю успехов. Не забывайте, что литература у нас, на Руси, дело священное, дело величайшее...»

Трудно передать, каким праздником было для меня это письмо, как бодро отозвались в моей груди его полновесные, убедительные слова, сразу глубоко западавшие в память. Гордый вниманием Горького, я поверил в свои силы и способности. Будущее теперь не казалось мне таким мрачным и неопределенным, как раньше.

Я продолжал писать Алексею Максимовичу, посылая ему новые стихи. В ответ приходили его строки, написанные прямым, круглым почерком всегда на плотной — в удлиненную клеточку — бумаге. Тем же почерком по-итальянски и по-русски был исписан и конверт.

Много радости принесла мне книжка «Просвещения» с напечатанными стихами, а первый четырехрублевый гонорар вызвал приятное ощущение относительной независимости.

Через месяц после первого письма с Капри я читал—второе:

«Дмитрий Николаевич, за исключением — по силе соображений цензурных — стихотворения «Пролетарии», — все стихи ваши будут напечатаны в июньской книге «Просвещения»...

«Два стихотворения второго присыла пошлю завтра Овсяннико-Куликовскому для «Вестн. Европы», третье — «Просвещению».

«Родина» — очень понравилась мне, хотя немножко вычурно, приукрашено излишне...

«Очень хорошо, что вы — семинарист, это — народ упрямый, все семинаристы, каких я знал, умели и любили думать...»

В ту пору московский меценат Шахов отправил группу исключенных владимирских гимназистов доучиваться за границу; отправил также одного семинариста. Другие изгои, обратившиеся за помощью к Шахову, успеха не имели. Я написал об этом Горькому.

Он отвечал:

... «Жаль, что вы не попали за границу, она многому и хорошо учит.

«Велика ли стипендия нужна вам и на какой срок? Сообщите.

«Шахов капризен; ибо стар...»

А в следующем письме Алексей Максимович извещал меня: ... «Учиться необходимо, избежать солдатчины надо.

«Стипендию вам — р. по 300 в год — я найду, недочетку доработаете сами. Изнурять себя непосильным трудом и голодовками в юности — вреднейшая вещь, от этого большая часть нашей интеллигенции и худосочна и нетрудоспособна».

Дальше Горький сообщал, что поручил одной своей знакомой прислать мне немного денег для поездки в Москву на предмет поступления в университет или институт.

«Затем мы с вами точно договоримся о самой стипендии, — как, в какие сроки, откуда вы будете получать ее, — писал Алексей Максимович: — об участии моем в делах ваших никому не байте, это может дурно отозваться на полицейской благонадежности вашей»...

Следуя совету Горького, я не разглашал своих отношений с ним. Но «шила в мешке не утаишь» — моя переписка с Алексеем Максимовичем не осталась тайной для жандармов. После революции копии писем были найдены во Владимирском охранном отделении.

В конце августа пришли обещанные деньги. Я поехал в Москву поступать в народный университет имени Шанявского. Это было, кажется, единственное в России учебное заведение, где от поступающего не требовалось ни казенного аттестата, ни свидетельства о благонадежности.

Зато окончившие университет не имели права и на диплом.

Я зашел в канцелярию «бесправного» университета и получил пропуск в аудиторию.

В Москве я познакомился с профессором А. Е. Грузинским, читавшим в университете Шанявского лекции по русской литературе XVIII века. Пожилой и добродушный профессор, просмотрев мои стихи, написал отзыв на них. Кажется, этот отзыв был показан Шахову или какому-то другому меценату с целью исхлопотать для меня стипендию, но попытка не удалась.

В связи с этим Горький писал мне:

«Дмитрий Николаевич, неопределенность вашего положения в скорости выяснится, — потерпите ее еще немножко! Все устроится, верьте мне!..»

Скоро я узнал, что необходимые мне деньги будет давать сам Алексей Максимович.

У меня появились знакомые литераторы: Тимофеев и Новиков-Прибой.

Оба недавно приехали с Капри. Оба жили на Таганке в общей квартире. Светловолосый, голубоглазый, сразу располагавший к себе, Борис Александрович Тимофеев был автором повести «Сухие сучки» и небольших рассказов. Горький считал его очень даровитым. Тимофеев учился на медицинском факультете, носил выцветшую шинель и в шутку называл себя «вечным студентом».

Невысокий и коренастый, Алексей Силыч Новиков, в прошлом матрос, казался старше Тимофеева. Год, прожитый им на Капри, был для него серьезной школой. В дарственной надписи на одной своей книге Горький назвал Алексея Силыча «Силой земной». Эта крепкая почвенная сила выражалась у Новикова в железной настойчивости и целеустремленности. Если Тимофеев писал, когда приходило настроение, то Новиков, по примеру Алексея Максимовича, работал ежедневно, упорно.

Сходясь вместе в столовой, друзья говорили о Горьком, о его внимательном отношении к талантливым людям. Называли имена писателей, которых Алексей Максимович ввел в литературу; мне особенно запомнилась история рабочего-поэта Семена Астрова. Молодой рабочий Астров жил в Париже; он перенес много тяжелого: чтобы не умереть с голоду, занимался мыть окна, а стихи писал бодрые, жизнерадостные. Послал свою тетрадь Горькому. Стихи Алексею Максимовичу понравились и при его содействии были напечатаны в лучших журналах.

Тимофеев не без гордости вспоминал, как Алексей Максимович пользовался его медицинскими советами, а Новиков тамбовским говорком рассказывал о писательской взыскательности Горького, о его строгости в оценках работы и роста литераторов:

— Ох, и здорово сердится, когда вещь плохая! Таковую за-даст баню, что никогда не забудешь.

Горьковскую строгость пришлось испытать в те дни и мне. В моих литературных вкусах и суждениях было много незрелого, наносного, взятого напрокат у писателей самых разных школ.

Не умея уважать свое, индивидуальное, я рядился в платье

с чужого плеча. Такой маскарад вызвал со стороны Горького резкую критику:

«... Вы еще молоды, но у вас есть кое-что свое, это вы и должны беречь, развивать, говорить же, что «я решил быть поэтом прекрасной дали, грядущего Эдема, града невидимого и влюблен сейчас в слово «Рай», — все это вам не нужно. Все это — дрянь, модная ветошь, утрированный лубок и даже языкоблудие. Каким вы будете поэтом, это неизвестно ни вам, никому...

«Вы пишете: «исключительно гражданским поэтом быть нельзя», — а разве вас кто-то приглашает именно на эту роль? Я не знаю, что такое гражданский поэт и военный, я знаю только хороших поэтов и плохих. Нужно стремиться быть именно хорошим, серьезным поэтом, а для сего необходимо выкинуть вон из головы всю современную бутафорию и театральщину, все эти «дали», «Эдемы», «фиалы», дохлых «Прекрасных дам» и прочую дребедень. И чем скорее это будет сделано, тем лучше для того, кто это сделает. «Гражданственность» же доступна только таким великим поэтам, как Гюго, Верхарн, — о ней вы подождите думать. Пишите просто, искренно о своей душе и от своей души, никому не поддаваясь, никого не слушая... У всех учиться, никого не слушать, — вот что хорошо для вас, как и для всякого, начинающего говорить с миром.

«На сердитое письмо не обижайтесь. Это слова сердитые, а не мысли.

«Будьте здоровы, учитесь, умеете смотреть в лицо всем и всему...»

Сердитое письмо, конечно, не обидело меня, так как я понимал, что строгость Горького идет от великой любви к литературе и от искреннего желания помочь мне. За «сердитыми» строчками я чувствовал заботу и внимание.

Тысячи километров отделяли Москву от Капри, но благодаря письмам, встречам с друзьями Горького, разговорам о нем, — я ощущал Алексея Максимовича где-то совсем близко. Та атмосфера, которой я дышал, была проникнута обаянием его личности.

Запомнился литературный вечер, на котором известная артистка декламировала горьковскую сказку «Товарищ».

Яркая и глубокая передача оттеняла мужественный пафос произведения. Помню теплый полумрак зала, десятки блестящих глаз, стройную женскую фигуру над аплодирующей, наэлектризованной толпой.

Если многие литераторы, заявившие в 1905 году о своих революционных настроениях, впоследствии быстро отказались от них, то буреизвестник революции Горький и в самые тяжелые годы реакции оставался верным рабочему классу пролетарским писателем. Он горячо выступал против вредных тенденций буржуазной литературы.

Газеты той поры много писали о самоубийствах среди уча-

шейся молодежи, — о целой эпидемии самоубийств. Люди, отравленные ядовитым дыханием безвременья, уничтожали себя с ужасающей простотой. Даже в небольшом кругу моих знакомых за эту зиму было несколько самоубийств. Особенно поразила меня смерть семинариста Якова Виноградова, получившего, как и я, волчий билет. Он не вынес горя матери-дьячихи и застрелился, зарядив охотничье ружье за неимением пули самоварной гайкой.

Модные буржуазные литераторы, вместо борьбы с порожденными бесправием русской жизни упадочными настроениями, сами проповедывали уход от жизни, воспевали смерть.

Вся жизнь, весь мир — игра без цели,  
Не надо жить,

мрачно утверждал Федор Сологуб.

«К жизни, к работе, а не к смерти надо звать», — отвечал на это Горький («Издалека»).

Его имя было символом жизни, борьбы, надежды, бодрости. К его голосу прислушивалась вся лучшая передовая часть народа.

Незадолго до моего приезда в Москву Алексей Максимович напечатал в газете «Русское слово» статью об инсценировках романов Достоевского: «Братья Карамазовы», «Идиот» и «Бесы», как о «затее сомнительной эстетически и безусловно вредной социально». Статья заканчивалась словами:

«Я предлагаю всем духовно здоровым людям, всем, кому ясна необходимость оздоровления русской жизни, протестовать против постановки произведений Достоевского на подмостках театров».

Вокруг статьи поднялся шум. Некая группа литераторов в вечернем издании «Биржевых Ведомостей» обвиняла Горького в попытке «установить цензуру общества над свободой художника».

Друзья Алексея Максимовича предложили мне подкрепить его обращение подписями шанявцев.

Знакомых в университете у меня еще не было. Для получения подписей требовалось перед началом лекции подняться на кафедру и произнести речь. Я был очень застенчив и к тому же не обладал ни ораторским даром, ни достаточно громким голосом. Тем не менее, решил «выступить».

Потрясая перед сотнями глаз листом чистой бумаги (для подписей), я призвал аудиторию откликнуться на обращение Алексея Максимовича и присоединиться к его протесту. Случилось то, чего я боялся: голос мой пропал под сводами огромного зала. Результат выступления был очень скромный, — и я рассказываю об этом маленьком случае лишь как о психологическом показателе моего отношения к Горькому, — отношения, выражавшего настроение многих.



кр 22.261

Выделив стипендию на мое образование, Горький и сам воспитывал меня, как других, начинавших «говорить с миром».

Никакой учебник литературы не мог дать того, что я находил в горьковских письмах.

Алексей Максимович внушал, что труд писателя — это подвиг. Напутствуя меня на работу поэта, писал:

«Не забывайте, что литература у нас, на Руси, дело священное, дело величайшее».

Напоминал о связи слова с жизнью, о требованиях, которые предъявляет писателю действительность:

«Русь нуждается в бодрых песнях, довольно минорничали».

Хотел вызвать во мне сознательное отношение к окружающему:

«Для вас Русь — свое, ваше дело. И будет очень хорошо для вас и для нее, когда вы поймете, что в ней от Востока, от грузной Азии, что — от Запада с его бодрым отношением к жизни, с его неуклонной борьбой против всех и всяких догматов»...

Убеждал расширять круг чувств и настроений:

«Лирик вы. Это — хорошо. Но — иногда человек должен схватить сам себя за сердце, нет ли там, в сердце, кроме тихой грусти — горькой усмешки, гневной искорки, иронического яда? Уж если вы выходите на люди — показывайте себя богаче, всего себя разворачивайте...»

И повторил эту мысль в другом месте:

«Не настраивайте своей души на один тон, а старайтесь, чтоб она говорила всеми глаголами, чтоб ничто не было чуждо ей. Не обижайте себя.

«Заметив, что вас особенно усиленно тянет к чистой лирике, попытайтесь поискать, нет ли рядом с этим тяготением чего-либо иного, противоречивого ему? Разворачивайте себя шире, раскрывайте глубже...»

Иногда Горький давал и темы. Когда я уехал на лето в родное село, он советовал:

«Вот теперь, живя в деревне, вспомните город, сопоставьте его с деревней, может быть хорошо будет?»

Алексей Максимович звал всматриваться в людей, вдумываться в жизнь и быт. Заставлял говорить о том, что пред глазами, а пред глазами у меня была деревня с ее мелкобуржуазным укладом, с притупляющим трудом в будни, с пьяными драками по праздникам, деревня, ограбленная кулаками, придавленная полицейским произволом.

Горький подсказывал:

«О сенокосе писали?»

«О лесных пожарах хорошо можно написать»...

Спрашивая, не пробовал ли я писать прозой, предлагал:

«Напишите прозой праздник в деревне, как вы его видите, и будни? Попробуйте!»

«Коротко, просто и так, будто вы все это сердечно любимой

вами девице пишете или рассказываете матери, которую тоже любите глубоко, страстно и бережно».

Стремление к простоте, к сжатости, к искренности Горький считал обязательной предпосылкой удачной работы.

Осуждая современных «книжников и спортсменов слова» за увлечение звуковыми эффектами, он утверждал:

«Что будет с ними дальше, не знаю, но пока — они все еще музыканствуют. Я не отрицаю музыку слова, но хорошая музыка всегда проста, все хорошее просто, а «косицы» и «косится» — и не просто и не хорошо».

И настаивал на том, чтобы я учился у Пушкина и других классиков, знакомился с фольклором. Первые же обращения ко мне строки А. М. Горького начинались советом:

«Читайте почаще Пушкина, это — основоположник поэзии нашей и всем нам навсегда учитель. Тем, кто кричит, что Пушкин устарел, — не верьте, — стареет форма, дух же поэзии Пушкина нетленен. И в поэзии надо быть хоть немного историком, т. е. человеком, честно и сознательно относящимся к своему историческому вчера.»...

Проводя линию от Пушкина к нашим дням, А. М. Горький, в противовес новшествам литературной моды, выделял в современной поэзии пушкинскую реалистическую традицию.

«Вы, видимо, немало читали Б(альмон)та и современников, это сказалось излишней цветистостью ваших стихов, в чем гораздо больше молодого форса и задора, чем вкуса и музыки. Красота — в простоте, это — аксиома. Как бы мы все ни метались, а во едину от суббот — и постоянно — молим: попроще, пояснее! Детские болезни, разумеется, обязательны в наших условиях, но — можно попытаться избежать скарлатины подражания — хотя бы и невольного — модернизму, не столь ценному у нас, как об этом принято думать...»

На мое решение прочитать Пушкина заново А. М. Горький отзывался такими строчками:

«Посмотрите, как широк диапазон его интереса к жизни, как много он охватил на земле, ему равно доступны и русская сказка и «Скупой рыцарь», «Борис Годунов» и работник Балда, — вот как нужно брать жизнь!..

«Прочитали бы вы после Пушкина-то Шелли и Гейне, почитайте Мицкевича, Сырокомлю, — последний не велик поэт, но — оригинален.

«А всего больше читайте русский эпос, былины, сказки, изучайте русский язык по народным песням...»

Из писем А. М. Горького я впервые узнал о необходимости экономить словесные средства, об искусстве немногими словами выражать многое, о законах композиции. Одобрив мои новые стихи, Алексей Максимович прибавлял:

«Но будьте строже к себе, не многословьте, нужно, чтобы в стихах не было бородавок. Не всякий цветок краше от лишнего лепестка...»



А по поводу другого стихотворения замечал:

«Гармошка» — длинно, эти вещи надобно писать короче и не столь скучно. Надобно писать, «чтобы словам было тесно, мыслям» и чувству «просторно»...

Иногда мои рукописи возвращались от А. М. Горького с его пометками и приписками. Карандаш Алексея Максимовича подчеркивал неблагозвучные сочетания согласных, отмечал слова с неправильными ударениями, искусственные или небрежные рифмы.

«Поле ли» — «пролили», «ветерком оне» — «гомоне», — писал Горький, — «это напрасно считается «изысканностью». Это более удобно для юмористической поэзии, это тоже самое, что:

Станция Куокала

Сердце мне раскокала

и приличествует старикам Минаеву, Курочкину. Рядом с такой «виртуозностью» вы рифмуете: «дымные» — «переливные». Не годится, сударь! Конечно, 19 лет многое объясняют, но, взявшись за серьезное дело, растите скорей...»

«Писать «крылышки» — «мокры лужки» стыдно! Это не поэзия, а фокусничество и ему нет места в поэзии. Дм. Минаев все равно останется непревзойденным современными словотерами, все фокусы сделаны им.

Зазвонил к обедне колокол,

Кот в то время молоко лакал,

это искусные «крылышки» — «мокры лужки»...

На полях стихотворения о величественной поступи пролетарских батальонов Горький приписал:

«Следовало дать больше гулких тяжелых слов».

Зачеркнув заключительную строфу другого стихотворения, пояснил:

«Конец сладок, излишен... Это можно бы написать короче, ладнее».

Такие замечания были хороши своей наглядностью.

Но, давая советы и указания, главное условие успеха Горький видел в самостоятельности автора, в его внутренней независимости от других писателей. Он учил искать свое, индивидуальное, и оберегать эту драгоценную творческую первооснову от посторонних воздействий. Свою первую заочную беседу со мной о полезном и вредном для начинающего поэта Алексей Максимович закончил фразой:

«А впрочем — желаю всею душою — ищите себя самого...»

И через несколько строк повторил:

«Ищите себя. Всех слушайте, всех читайте, — никому не верьте и везде учитесь. Сим и можете победить.»

Из письма в письмо он твердил:

«Скажите себе: у меня есть свое! И берегите это свое»...

«Примите добрый совет человека, желающего свободного развития дарованию вашему: всех слушайте, все читайте, всему

учитесь, но — берегите, но — ищите себя самого, никому не подчиняйтесь, все проверяйте и не давайте души вашей в плен влияниям, чуждым ей»...

Дорожа самобытностью молодого автора, А. М. Горький желал ей свободного и полного выявления. Он относился к чужому дарованию так бережно, так любовно, словно имел дело с хрупким и сложным инструментом, способным пострадать от неосторожного прикосновения.

«Вот вы, дорогой мой, выходите на широкую дорогу, теперь вас будут читать десятки тысяч людей, — берегите себя... Учитесь у всех — не подражайте никому».

Летом 1914 г. Горький, живший в то время в Финляндии, пригласил меня в гости:

«Вам, сударь, нужно приехать ко мне, у меня недурная библиотека по фольклору, вот бы вы и почитали хорошенько, да и по истории я не беден книгами.

«Приезжайте! Буде нужно денег, — вышлю. Но приезжайте в сентябре, не раньше, а то я до августа буду занят очень и не в себе»...

Через несколько дней вспыхнула мировая империалистическая война. Полагая, что Алексею Максимовичу не до гостей, — приглашением я не воспользовался.

В село, где я проводил лето, художественная литература доходила лишь в виде дешевых еженедельников, таких, как «Огонек», «Панорама», «Синий журнал»; их приносили, приходя на праздники домой, мои приятели-односельчане, работавшие на ивановских фабриках. От журналов шел густой дух монархизма и шовинизма. «Прославленные литераторы» в стихах и прозе усиленно бряцали оружием. Казалось, на все невоенные темы кем-то наложен строгий запрет, все человеческие чувства мирного времени объявлены нелегальными. Это действовало удручающе.

В таком настроении я получил письмо Горького:

«Дмитрий Николаевич, нет ли готовых стихов? Простых, не о войне, а просто — о жизни, о деревне? Давайте побольше, нужно для сборника, в котором намерена сотрудничать недурная компания...

«Посылайте скорей по адресу: Петроград, Кронверкская улица, д. № 20, кв. 8. Инженеру Александру Николаевичу Тихонову для А. М. Пешкова»...

Эти немногие строки говорили так много! Значит, есть еще люди, думающие и чувствующие по-своему, и есть возможность писать, работать вместе с ними.

В эту осень мне пришлось призываться на военную службу. Как рекрут, я был «забракован», но учиться уже не удалось. Новый, 1915-й, год я встретил в деревне. В январе пришло другое письмо Алексея Максимовича:

«Дмитрий Николаевич, — гласило оно, — стихи ваши я получил... Но — со сборником мы опоздали и выпустим его только осенью. Сообщите могу ли отдать часть ваших стихов «Совр(еменному) Миру», а остальное раздать по другим изданиям?..»

«Пишите по адресу Тихонова, я вижу его часто, и письма ваши не залежатся...»

Вскоре после этого я побывал в Москве и узнал, что сюда собирается приехать Горький. Я решил не возвращаться в село, пока не увижу Алексея Максимовича.

Он приехал в апреле, остановился у родных. Идя к Горькому, я очень волновался.

Я не застал Алексея Максимовича, но мне сказали, что он скоро будет дома, знает о том, что я приду, и просил подождать.

Сын Горького, гимназист Максим, начал показывать мне фотографические карточки отца.

Потом мы стояли на балконе и с высоты четвертого этажа смотрели на обтаявшую мостовую, на черные, еще голые ветки деревьев. Был чудесный солнечный день с голубым небом, с мягким влажным ветерком, — один из тех дней ранней весны, когда воздух бодрит и опьяняет, а сердце волнуют смутные надежды.

Послышалось цоканье копыт, показалась извозчичья пролетка. Вот она остановилась около подъезда. С пролетки сошел человек в шапке запорожца и длинном пальто.

— Папа, — сказал Максим.

Мы вернулись в столовую. Через минуту в прихожей раздался низкий гудящий голос. В дверях показался А. М. Горький, очень высокий, слегка сутулый, одетый в черное. Его небольшие голубые глаза приветливо смотрели из-под косматых бровей, под прокуренными усами светилась мягкая улыбка.

— Так вот вы какой, — вглядываясь в меня, сказал он густым окающим басом: — Ну, здравствуйте, здравствуйте!..

Я почувствовал пожатие крупной руки. Мне казалось, что А. М. Горький внес с собой что-то бодрящее и молодое, как апрельский воздух.

Он сразу заговорил о том, что мои стихи пора издать отдельной книжкой, что мне надо поездить, посмотреть Русь, ее народ.

— Подождите, мы вас и за границу отправим!..

Я с восторгом слушал эти ласковые, льнувшие к сердцу слова.

Пока готовили стол для обеда, А. М. Горький провел меня в соседнюю комнату, сел, закурил папиросу. Продолжая беседу, начатую в столовой, он снова вернулся к моим стихам. Алексей Максимович находил их живописно-яркими, как полотна художника, который нравился ему, — была названа фамилия, не

удержавшаяся в моей памяти. Вместе с этим он видел у меня серьезный недостаток — отсутствие жанра.

— Вы, сударь, ходите по земле и как будто не замечаете, что на ней, кроме цветов, деревьев, птиц, живут также люди. Вам необходимо полюбить людей, — их труд, радости, заботы...

Алексей Максимович сидел спиной к окну. На его угловатом и моложавом лице с мягкими, как беличий мех, пушистыми усами лежала полутьнь, но оно освещалось другим, внутренним светом, — этот свет лучился из глаз и вспыхивал доброй улыбкой. То несколько напряженное состояние, которое я испытывал в ожидании встречи с ним, теперь прошло. Мне стало хорошо, легко. А. М. Горький держался так просто, с такой душевной чуткостью, что в его присутствии хотелось быть самим собой.

Куря и по временам глухо кашляя, он начал рассказывать о каприйских рыбаках и неаполитанских рабочих. «Сказок об Италии» я еще не читал, но рассказ А. М. Горького звучал для меня сказочно. Алексей Максимович говорил о врожденной артистичности людей, среди которых жил до приезда на родину, о их любви к искусству, музыке, песне. Раз в году они устраивают праздник песни, музыкальное соревнование. Песня, победившая на конкурсе, распевается на следующий день и продавцами макарон, и горничными, и газетчиками, и уличными мальчишками. Однажды лучшую песню сложил простой извозчик...

— И грамотность там стоит очень высоко. Прислуга, пока на плите готовится суп, читает газету...

Довоенная Италия была сравнительно более культурной, более свободной страной, чем отсталая царская Россия. Прошли годы — и враг культуры, фашизм, превратил Италию в страну свирепого террора, поставив итальянских тружеников в положение полукрепостных рабов. На территории же России вырос могучий Союз советских республик, поднявший знамя подлинной, социалистической демократии, подлинной культуры, и советская женщина не только читает газеты, но и управляет своим государством.

Но тогда, в 1915 году, великий и талантливый русский народ шел по приказу царских генералов в подготовленную капиталистами кровавую драку.

Все, о чем говорил А. М. Горький, было невозможно в стране городских, урядников, волчьих билетов, вечных недородов. Но в окне молодо синело весеннее небо, горьковские глаза тоже голубели по-весеннему. И верилось, что сказка-быль Алексея Максимовича станет былью и здесь у нас.

А А. М. Горький, рассказав о карнавале, неожиданно прочел стихи о влюбленных, которые целовались на зеленом лугу. Стихотворение было небольшое — строк в восемь или двенадцать. Алексей Максимович читал глуховато, но внятно и с чувством. А прочитав — спросил:

— Нравится?

И прибавил:

— Вот как надо писать!

Мы вернулись в столовую. — вся она была в теплых бликах. Поглядев в окно, А. М. Горький спросил меня о московских знакомствах, о влияниях, которые я испытывал в период своей городской жизни. В вопросе мне послышалась нотка заботы...

За столом я старался запомнить человеческий облик Алексея Максимовича: скользящую под усами усмешку, взгляд голубых глаз, бритый, резко очерченный подбородок, лоб в морщинах, волосы ежиком. На портретах я привык видеть Горького в черной косоворотке. Теперь на нем был пиджак, крахмальная манишка. Этот костюм только оттенял своеобразие его мощной фигуры и характерного лица.

Вот Алексей Максимович привычно выпил бокал пенистой на вид лекарственной жидкости, — кажется, смесь кефира и яичных белков. Вот он ворчливо заговорил о «шипях» своей славы: целое утро уличные зеваки преследовали его назойливым любопытством. И бестолковый шум безалаберной Москвы не нравился Горькому.

Потом Алексей Максимович начал разговор с сыном. Максим — в семье его звали Макс — смуглым цветом кожи и темными глазами походил на мать, но в линиях лица было много отцовского. Он любил цирк, физкультуру, увлекался французской борьбой.

А. М. Горький слушал его с ласково-снисходительной и сочувственной улыбкой. Может быть, он вспоминал свою юность, цветы которой грубо обрывала жизнь «в людях», и радовался за Максима, жившего иначе? Может быть, узнавал в нем себя, свои черты?

После обеда в руках Алексея Максимовича появился сборник стихов поэта-портного И. А. Белоусова «Атава». В стихах Белоусова, на мой взгляд, нехватало техники. Горький согласился, что «Атава» могла бы быть ярче.

Очень хотелось побыть возле Горького подольше, но пора было уходить. Алексей Максимович спросил, есть ли у меня темы? Я рассказал содержание поэмы, которую хотелось мне написать.

Алексей Максимович одобрил сюжет поэмы и посоветовал:

— Только пишите ее разными размерами. Когда большая вещь написана одним размером, трудно читать. Напишите — присылайте мне...

Кроме поэмы, я должен был прислать А. М. Горькому все остальные свои стихи для издания книжкой. Провожая меня, Алексей Максимович вышел в прихожую — и в его взгляде, улыбке, голосе я еще раз ощутил золотые нити той сердечной теплоты, которая наполняла строки его писем и книг.

Хрустя ледком подмерзших к вечеру луж, в которых отра-

жалось зеленоватое небо, я уносил в памяти обаятельный образ прекрасного человека, великого писателя.

Позднее я иногда видал Алексея Максимовича «не в себе», — занятым, озабоченным, но впечатление первой встречи было самым прочным. В глаза у меня стоял человек, увиденный мной в апреле 1915 года. Человек этот всюду страстно искал ту способность к творчеству, которой в величайшей степени был одарен сам. Творческое начало, талант, он ставил выше всего.

«Будьте здоровы и берегите свой талант», — так заканчивалось одно из его писем: «На свете немало хорошего, а талант самое лучшее».

Он и сам берег нас, молодых безвестных литераторов, боялся за наши неокрепшие силы. Любовное внимание А. М. Горького к начинающим писателям, в которых ему чудились проблески одаренности, выражалось в самых разнообразных формах — от переписки до включения фамилии автора в перечень сотрудников журнала. Помню, с какой гордостью я увидел в подписном объявлении журнала «Просвещение» свое имя рядом с именем самого Горького. Такие вещи подбадривали и окрыляли. Строки горьковских писем глубоко западали в сердце его адресата, ибо тоже шли от сердца, от горячего желания помочь, вразумить, поддержать.

Таким вот — отзывчивым другом безыменных писателей, робко вступающих в литературу, их наставником и вдохновителем — виделся мне А. М. Горький, когда сообщал:

«На днях читал ваши стихи разным людям, почти всем они очень понравились, это меня крайне обрадовало!»

«Ваши стихи в «Современном мире» всем нравятся, — поздравляю, сердечно рад за вас...»

Сердечную отзывчивость А. М. Горького, его готовность помочь я испытал однажды и не по литературному поводу. Заболел мой младший брат. В нашем селе больницы не было. Городской врач, осмотрев мальчика, нашел признаки туберкулеза. В то время (лето 1914 года) в газетах появилось сообщение об улучшении, наступившем в здоровье Горького. По словам одного из моих знакомых, где-то была напечатана статья Алексея Максимовича о применявшемся к нему новом радикальном способе лечения туберкулеза. В своем горе я обратился к Горькому с просьбой рассказать, как и чем он вылечился?

Алексей Максимович ответил:

«Дмитрий Николаевич, статьи о том, «как я вылечился», я нигде не печатал.

«Вылечил же меня д-р Ив. Ив. Манухин, освещая мне селезенку лучами Рентгена. Это — совершенно новый метод лечения туберкулеза и некоторых других инфекционных заболеваний, — метод, дающий все более прекрасные результаты.

«Д-р Манухин живет в Петербурге, Сергиевская, 33, но предупреждаю вас, что он уже закончил до осени прием больных.

«Большинство докторов, применяющих метод Манухина, при-

меняет его неправильно и берет за это дорого, но есть в Москве д-р Тихомиров, которому Манухин передал свой метод лечения непосредственно; если вы хотите, я дам вам записку к Тихомирову. Отвечайте: Мустамяки, пансион Ланг»...

Через несколько дней я получил от Алексея Максимовича рекомендательное письмо И. И. Манухина к доктору Тихомирову.

Месяца через три после моей первой встречи с А. М. Горьким он снова позвал меня к себе:

«Дмитрий Николаевич, не хотите ли приехать ко мне в Финляндию? Поживете другими впечатлениями, я предложу вам подстрочные переводы армянских, латышских и других поэтов, а вы попытаете придать им форму. Поговорим.

«Если согласны, — отвечайте по адресу: Петроград, Лиговская, дом Перцова, квар. 110, «Парус», мне...»

И прислал через И. П. Ладыжникова денег на дорогу.

Осенью я поехал.

На станции Мустамяки я вышел из вагона и, узнав, что до деревни Нейволы, в которой жил Горький, недалеко, — бодро двинулся в сумерки октябрьского вечера. Шел лесом. Стемнело, а деревни все не было. Иногда в стороне показывался и пропадавал огонек одинокого строения, звякала бубенцом корова. Ветер шумел в черных деревьях; над ними темнело беззвездное небо.

На мои вопросы о дороге встречные финны понимали только одно слово: «Горький», но этого оказалось вполне достаточно, — слово довело меня до самой дачи Алексея Максимовича.

Было, видимо, уже поздно, но в доме еще не спали. Свет, падавший из окон, слабо озарял ступени крыльца и входную дверь. Я вошел в переднюю и спросил прислугу, дома ли Алексей Максимович? Он был дома, вышел на зов и в первый момент не узнал меня — потому ли, что я, страдая зубной болью, обвязал щеку носовым платком, или оттого, что мое появление в такой поздний час было неожиданностью. В следующую минуту лицо Алексея Максимовича потеплело, он спросил озабоченно:

— Что с вами? Вы больны?..

Удивился, что я на станции не нанял подводы, и повел меня за собой. Уже на ходу, обернувшись ко мне, он справился:

— Ну, что? Много написали стихов?

И узнав, что в потертом саквояже, который я оставил у вешалки, кроме всего прочего, лежит большая поэма, бодро сказал:

— Ладно, почитаем!..

Идя за А. М. Горьким, я очутился в просторной уютной комнате. На столе мягко светила затененная абажуром лампа. За столом, рассматривая правюры, сидели три человека: моло-

дой смуглый брюнет, армянский поэт Терьян, плотный, бритый А. Н. Тихонов, в адрес которого я посылал зимой стихи, и юная женщина, его жена.

После того как Горький познакомил меня с гостями, возобновился прерванный моим приходом разговор.

С сердитой иронией Алексей Максимович говорил о духовной неразборчивости читателя-мещанина:

— Он не читает, а глотает книгу, как крокодил — бревно. Проглотит Толстого, — начнет пожирать Аверченка, покончит с Аверченком, — набросится на Диккенса. Книга не вызывает в нем никакой работы мозга, не оставляет никакого следа...

Горький покашливал, выбрасывал из-под густых усов струйки табачного дыма.

Терьян спросил:

— Почему вы, Алексей Максимович, не пишете стихов?

— Я пишу их, только никому не читаю, — ответил Горький, улыбаясь так, что трудно было понять: шутит он или говорит серьезно.

Он помолчал и, усмехнувшись, прибавил:

— Да-с, пишу. А потом в один прекрасный день возьму да на удивление всем и напечатаю книгу любовной лирики.

Худощавый, с горячими глазами и шапкой черных кудрей, Ваган Сукиасович Терьян учился в каком-то петроградском институте. Имя его было уже известно в литературе Армении. Стихи Терьяна переводили на русский язык Брюсов и Бальмонт. Вскоре после революции поэт умер. Из скупых строк некролога я узнал то, чего не сказал Алексей Максимович, знакомя меня с Терьяном: еще тогда, в пятнадцатом году, он был большевиком и видным борцом за освобождение армянского народа.

А. Н. Тихонов писал повести и помогал А. М. Горькому в его издательских начинаниях.

Обращаясь к Тихонову и Терьяну, Алексей Максимович заговорил об издании сборника армянской литературы. На столе появились бумага и карандаш. Терьян называл фамилии армянских литературоведов и русских поэтов-переводчиков, которых можно привлечь к работе над сборником. Горький записывал.

Потом начался разговор о новостях писательского мира. Терьян рассказал, что в литературных салонах Петрограда появился талантливый крестьянский поэт, — совсем еще юноша; он своими яркими образными стихами возбудил общее внимание к себе. Поэта, о котором шла речь, я встречал в университете Шанявского. Горький спросил:

— Ну, что он? Каков?

Через несколько дней я убедился, что интерес Алексея Максимовича к новому имени не был случайным любопытством. Встретив в одном из журналов стихи этого автора, Горький прочитал их, но, кажется, они не произвели на него большого впечатления. Тем не менее, в дальнейшем стихи молодого поэта появлялись в «Летописи». А. М. Горький продолжал присматри-



ваться к нему, как к сотням больших и маленьких литераторов, однажды попавших в поле его зрения.

Спать меня устроили наверху, рядом с кабинетом Алексея Максимовича. На столе около постели горела свеча и лежала книга, но разве можно было читать в этот вечер?

Утром, спустившись в столовую — комнату, где накануне сидели гости, — я встретился с Терьяном. Он уезжал в Петроград. Мы вместе позавтракали. Терьян сказал:

— Алексей Максимович хорошо отзывается о вас. По его словам, если вы будете работать, из вас выйдет толк...

В окнах синело ясное небо, обещая погожий, теплый день.

Большой двухэтажный дом, куда пригласил меня Горький, стоял на холме. Из окон было видно, как на юг и запад, словно темные толпы монахов, уходят хмурые хвойные леса. Они спускаются в долину к синему озеру, обходят его и простираются до самого горизонта, густые и туманные.

Простившись с Терьяном, я, в сопровождении жившей в доме остромордой собаки, пошел в сад. Утро было тихое и прохладное. У подножия деревьев лежали груды разноцветных камней и целые гранитные глыбы, красные, иссиня-серые. Они глубоко вросли в землю, покрылись мхом, травой и сухой хвоей. Вспомнилось затверженное в детстве:

Суровый край: его красам,  
Пугаяся, дивятся взоры;  
На горы каменные там  
Поверглись каменные горы.

Камни, обломки скал всюду лежали и в лесу. Рядом синели крупные ягоды черники, застывшими каплями розового воска висели брусничные кисти. Часто в лесу попадались изгороди, через которые нужно было перелезть. Весь лес был разделен ими на небольшие участки. А в деревне выкапывали картошку. На пряслах сушилась картофельная ботва. Светило нежаркое осеннее солнце. Блестели стекла окон.

За обедом Алексей Максимович спросил меня:

— Ну, как? Нравится вам Финляндия?

И так же, как весной рассказывал об итальянцах, теперь рассказал о тружениках, населяющих эту землю камней и мхов, — о жизни, построенной на более разумных началах, чем в отсталой царской России. Дух бодрости и любви к труду витал над суровым финским краем. Горький рассказал о трудоспособности финского народа, о его стремлении к культуре. Маленький клочок каменистой почвы целый год кормит здешнего крестьянина. В его хозяйстве используется все, — даже картофельная ботва, которая зимой идет в корм скоту. Финские рабочие ездят на работу на велосипедах, бывают в народном доме.

— А одеваются они...

Горький бросил взгляд на мой далеко не новый пиджак, на смятую ситцевую рубашку и договорил:

— ... лучше, чем вы.

Население буржуазно-демократической Финляндии пятнадцатого года, входившей тогда в состав Российской империи, пользовалось относительно большей свободой, чем русский народ, живший под тяжелым гнетом самодержавия. Дальнейшие исторические события показали, что подлинно свободной и культурной жизни трудящиеся могут добиться, лишь взяв в свои руки власть. В то время как русские рабочие и крестьяне, совершив Октябрьский переворот, завоевали такие великие права, каких не имел и не имеет ни один народ, — рабочие и крестьяне Финляндии очутились под игом фашистской буржуазии.

Подали пачку столичных и провинциальных газет. Алексей Максимович начал просматривать их.

У ног его дремала собака.

От камина, в котором колыхались огненные языки, веяло сухим приятным теплом. На блестящий кофейник, на стаканы падали алые отсветы.

Отодвинув газеты в сторону, Горький повел речь об успехах современной техники, о том, какие мощные средства изобретает мысль для избиения людей. Разбойничьи силы империализма в погоне за наживой направляют творческую энергию разума на разрушение жизни, но их власть временна. Люди труда, разум, наука сделают жизнь сказочной. Таков был смысл того, что говорил Алексей Максимович.

Я спросил Горького: кто, по его мнению, выйдет победителем из этой войны — немцы или союзники?

Он ответил:

— Вероятно, немцы победят нас здесь, а их победят там.

«Там» означало: на Западе.

Алексей Максимович поднялся в свою рабочую комнату. В эти дни он писал небольшие рассказы, которые через несколько времени прочел вслух.

Меня поместили внизу, в комнате с дверью, выходящей на балкон. На балконе я нашел стихи А. К. Толстого, забытые здесь, может быть, кем-то из летних гостей Горького. Книгами были полны и большие шкафы, стоявшие в коридоре. Я вынул наудачу несколько томов, — от пожелтевших страниц и старомодного шрифта исходило своеобразное очарование. Это был некрасовский «Современник».

Вечером пришли Тихоновы, жившие где-то по соседству.

Сидели за чаем.

А. М. Горький с болью говорил о грабительской войне, о том, что темные силы реакции, боясь последствий кровавой бойни, стараются разжечь в народе вражду к евреям.

— Солдатам на фронте внушают, — что евреи — предатели, враги!..

Лицо Алексея Максимовича было строго, резко проступили морщины на лбу.

— Для чего это делается? Это делается по мотивам очень простым, очень ясным, — русский народ уже выработал извест-

ные социальные потребности и, кончив войну, может очень настойчиво и грозно заявить о необходимости полного удовлетворения его социальных и политических нужд. Поэтому темные силы хотят отвлечь народ от революционных задач и стремлений, обессилить, разъединить его...

Горький взмахивал руками, — широкие твердые манжеты подчеркивали их худобу.

В Москве я видел Алексея Максимовича женственно-нежным, матерински-ласковым, расточающим вокруг себя тепло и свет.

Сейчас он горел мужественной жгучей ненавистью к бездарному царскому правительству, толкавшему на гибель многомиллионный талантливый народ. Алексей Максимович, близко соприкасаясь с революционным подпольем, с лучшими представителями рабочего класса, уже чувствовал приближение революции.

После чаю он пригласил всех в свою рабочую комнату. Часть ее занимал длинный некрашенный стол, загроможденный книгами, рукописями, чистой бумагой. На столе стояли фотографии Льва Толстого и Чехова с их дарственными надписями.

А. М. Горький подошел к шкафу и достал из него небольшой ящик. В ящике были монеты и медали.

Алексей Максимович сел и, склонившись над ящиком, захватил пригоршню металлических кружков: белых, желтых, темных.

Пересыпая их в ладонях, он сказал с легким оттенком гордости в голосе:

— Недурная коллекция! Все сам собрал.

Высыпал монеты обратно и стал показывать каждую в отдельности. Металлические кружки были памятниками разных исторических событий, отражением культур, эр, давно исчезнувших государств.

Держа на ладони большую золотую монету эпохи Возрождения с чьим-то гордым профилем, любуясь изяществом чеканки, он говорил:

— Посмотрите, как сделана эта головка!.. Какая благородная красота!..

Золотую монету сменила кожаная гривна времени удельных князей:

— А вот это — совсем в другом роде...

В коллекции оказалась и серебряная медаль, изготовленная царским правительством в русско-японскую войну на случай победы над врагом. На медали были выбиты торжественно нелепые слова: «Да вознесет вас господь в свое время!»

Усмехаясь, Алексей Максимович рассказал ее историю. Проект медали с надписью: «Да вознесет вас господь» был представлен на «высочайшее утверждение». Как ни скудоумен был Николай Второй, однако, после Цусимы даже он чувствовал, что такая медаль не по времени. Поэтому он написал на проек-

те: «в свое время». Резолюция оказалась под словами изречения и была сочтена министрами за добавление к ним.

Памятник самодержавной глупости со звоном лег в ящик...

Летом 1914 года в нижегородском художественном музее я видел подаренные А. М. Горьким картины.

Так же, как монеты, Алексей Максимович собирал гравюры, старинные миниатюры, книги, фарфор, а, собрав, отдавал свои коллекции в музеи, библиотеки, картинные галереи.

Было удивительно, как широка, многогранна душа Горького, как его энергии хватает и на собирание предметов искусства, и на редактирование чужих рукописей, и на организацию различных изданий, — на десятки дел, каждое из которых оставляло глубокий след в русской жизни. Для той гигантской работы, какую делал А. М. Горький, нужны были необычайные силы. В эти дни и позднее мне приходилось слышать, как Алексей Максимович сравнивает других больших людей с былинными богатырями — Святогором, Василием Буслаевым. Но и сам он был богатырем.

В том, как много он вместил в себя, как умел владеть своим временем, чувствовался человек будущего.

Гости ушли поздно.

Когда в доме наступила тишина, я из своей комнаты долго слышал раздававшиеся наверху размеренные шаги Горький не спал, — думал, работал. В эти поздние часы его душа говорила с миром.

В горьковских воспоминаниях о Л. Андрееве есть фраза: «Ему было почти недоступно наслаждение ночной подвижнической работой в тишине и одиночестве над белым чистым листом бумаги; он плохо ценил радость покрывать этот лист узором слов».

Сам Горький хорошо знал эту радость.

Прислушиваясь к его шагам, я вспоминал слова письма: «Литература у нас, на Руси, дело священное, дело величайшее»...

В Финляндии я увидел А. М. Горького великим тружеником.

Он сходил к завтраку и обеду молчаливый и рассеянный, светлоголубые глаза его были устремлены куда-то вдаль. Я видел Алексея Максимовича в том состоянии, которое он определил кратким выражением: «не в себе», — сосредоточенным, углубленным в свои мысли.

Он молча пил кефир; развернув газету, читал, курил; барабанил по столу пальцами, думал о чем-то своем и снова уходил в кабинет. Снова наверху раздавались глухие мерные шаги.

Иногда после обеда Горький приглашал меня на прогулку. Стояли теплые, ясные дни. По лесному озеру скользили лодки, в синем стекле воды отражались их паруса, в прозрачном воздухе плыли серебряные паутинки.

Мы шли краем широкого шоссе. По сторонам неподвижно стояли прямые высокие сосны и поросшие мхом ели. У подножия их лежали серо-синие и красноватые валуны. Мимо нас

мелькали велосипедисты, резиновые шины эластично шумели по песку.

Алексей Максимович, в коричневой кожаной куртке, в черной широкополой шляпе и без привычной папиросы, шел легкой, спорной походкой странников, одним из которых он был в юности, стремясь понять жизнь, познать людей. Заложив за спину руки, он смотрел на лес, на дорогу, на бежавшую впереди собаку. Мы сворачивали с шоссе, шагали полянами среди сизых кустов можжевельника и замшелых каменных глыб. Горький раздвигал загородившие тропинку ветки и говорил:

— Стихи в журналах, обычно, идут на затычку пустой страницы. При отборе стихов редактор почти всегда руководится соображением, достаточно ли известна фамилия автора? Это полезно знать каждому молодому поэту...

Обходя лежавший на пути большой камень, он прибавил наставительно:

— Держите всегда в памяти пушкинский завет «Поэту»:

Ты сам — свой высший суд;

Всех строже оценить умеешь ты свой труд.

Ты им доволен ли, взыскательный художник?...

Почти все разговоры А. М. Горького со мной носили такой же воспитательный характер, как и письма. Мне было двадцать с небольшим лет. Мой жизненный и литературный путь только еще начинался. Я нуждался в добром слове большого, умного человека. И Горький не отказывал мне в таком слове.

После бесед с ним всегда было над чем подумать. Снова раза два мне довелось испытать на себе требовательность Горького, источником которой была горевшая в его сердце любовь к литературе. «Взявшись за серьезное дело, растите скорей», — сказал он в письме, а «расти» означало: учиться, упорно работать над собой.

Гуляя с Алексеем Максимовичем, я спросил его о том, какого происхождения финские камни? Удивленный моим незнанием, он коротко рассказал о ледниковом периоде.

— Неужели вы не читали об этом? — сурово, с упреком спросил Горький.

Сам он читал, знал, помнил, кажется, все.

Вечер на третий после приезда я показал Алексею Максимовичу свою большую поэму.

Положив рукопись на стол, Горький закурил папиросу и начал читать. С первой же страницы он нахмурился. Стало ясно, что стихи ему не нравятся. Прикасаясь к рукописи толстым двухцветным карандашом, он говорил:

— Стиля не выдерживаете, сударь. Нет, словарь ваш для такой работы еще беден, недостаточен...

Чем дальше читал Горький, тем строже становилось его лицо, взгляд — отчужденнее, голос — суше.

С болью сердечной слушал я его слова, — с болью и за свою неудачу и за то, как тяжело переживает ее Алексей Мак-

симович. Мне хотелось взять злополучную рукопись, спрятать ее подальше, но на ней лежала рука Горького, пальцы руки выстукивали дробь, под аккомпанимент этой дроби он сказал с досадой:

— Жаль, что вы потратили труд и время так непроизводительно!

Зажег новую папиросу и, все еще будто сердясь, заговорил о том, что поэту необходимо писать не только стихи, но и прозу.

— Возьмите французских поэтов. Во Франции каждый поэт, для того чтобы обратить на себя внимание, должен написать книгу рассказов. Отчего бы вам не попытаться написать рассказ?

Я ответил, что не имею того жизненного опыта, который необходим беллетристу.

Горький возразил:

— Ерунда, опыт есть. Начните писать — и увидите, что все необходимое явится само собой.

Он немного помолчал, потом вдруг спросил:

— Вам нравятся стихи Сурикова?

Выслушав ответ, Алексей Максимович сказал, что учиться у таких поэтов, как Суриков, нечему, — учиться следует у Пушкина.

Проникнутые терпеливой покорностью тяжелой доле, вызывающие к состраданию стихи поэтов суриковского типа были чужды бодрому, мажорному мироощущению Горького. Да и мастерства здесь он не видел.

Но еще резче отзывался Горький о тех современных поэтах, которые, по его выражению, не писали, а «музыканствовали». Он ревниво берег русский язык от засорения его «местными речениями» и словами придуманными, искусственными. Этих слов он терпеть не мог.

Я попросил Алексея Максимовича прочитать напечатанные в последней книжке одного журнала, хорошие, по моему мнению, стихи. Взяв книжку, Горький начал читать. Наткнулся на слово «цевня» и остановился.

— Что такое цевня? — спросил он.

— Цевница, свирель.

— А я думал: цепочка серебряная к часам, — не без едкости усмехнулся Горький. И заодно пробежал глазами напечатанные рядом стихи о березке.

— Привязались к этой березке, — жестко сказал он. — Секли их часто что ли этой березкой?

Конечно, дело было не в березке, а в бессодержательности стихов, в тематической бедности, раздражавшей Алексея Максимовича.

Зато его отношение к Пушкину и Лермонтову было неизменно восторженным. Любовь Алексея Максимовича к великим русским поэтам осталась такой же, как в дни отрочества, когда он впервые испытал на себе волшебную силу книги.

— Вы послушайте, как это просто и прекрасно. — сказал он однажды и прочел:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,  
Шумит Арагва предо мною...

Алексей Максимович читал медленно, отделяя каждое слово и прислушиваясь к музыке стихов. По его лицу, просветленному и растроганному, по голосу, звучавшему мягко и глуховато, было видно, что, показывая мне эту жемчужину пушкинской лирики, он и сам любит ее благородной красотой.

И сердце вновь горит и любит — оттого,  
Что не любить оно не может.

А. М. Горький вздохнул:

— Хорошо!..

А в другой раз, посмотрев раздумчиво на меня, спросил:

— Помните «Утес» Лермонтова?

И тоже прочел стихи:

Ночевала тучка золотая  
На груди утеса-великана.  
Утром в путь она умчалась рано,  
По лазури весело играя..

Он дочитал стихотворение до конца и сказал, поясняя свою мысль:

— Какой поэтический образ нашел Лермонтов для передачи своего настроения!.. Чудесно!..

Я знал, что у Горького — своя работа, и какая работа! Несомненно, она давала ему огромное удовлетворение. Но в Горьком совершенно не чувствовалось эгоистического стремления оградить свой творческий мир от посторонних тревог и забот. Нет, он сам искал их, сам шел им навстречу. Как и всегда, он читал чужие рукописи, отвечал на письма молодых авторов, думал о них. Его глубоко серьезное желание помочь мне я ощущал непрерывно, каждый день.

— Не попробовать ли вам себя в балладах? — предлагал Алексей Максимович: — Вроде тех, что Алексей Толстой писал. Почитайте-ка его!..

А то говорил:

— Лучше всего у вас выходят вещи, написанные в фольклорном стиле, и такие стихи, как «Кузнец». Вам нужно избрать одно из этих направлений и разрабатывать его.

Я показал Горькому новые свои строки и по его лицу старался угадать впечатление. Лицо было доброе, впечатление — хорошее. Подняв от тетрадки взгляд светлоголубых глаз, Алексей Максимович сказал:

— Стихотворение о солдате-калеке настроением и размером слишком напоминает Некрасова, а вот об осени вы написали по-своему и тут есть подлинное лирическое волнение...

О стихах, ритме, образе он говорил в эти дни неоднократно.

Показывая многокрасочные иллюстрации к былинам, Горь-

кий обратил внимание на подписи. Все они были написаны хорейским четырехстопным стихом.

— Такой размер годится для сказки о Коньке-горбунке, — заметил Алексей Максимович: — Под него плясать хорошо, а к былинам он никак не подходит.

Он мельком взглянул на рисунок, изображающий озорные забавы Василия Буслаева, и произнес поучительно:

— Размерами надо пользоваться с толком...

Раз после вечернего чая Горький подал мне небольшую книжку в голубой обложке, изданную под его редакцией, «Пролетарский сборник».

— Тут есть неплохие стихи, — говорил Алексей Максимович: — Вот хотя бы эти...

Он наклонился над столом и отыскал нужную страницу.

Грачи по снегу, как монахи,  
Гуляют чинно и галдят,

прочел он и, весь как-то осветясь, спросил:

— Правда, похоже?

Снова сел напротив меня и вкратце рассказал биографии некоторых участников сборника. Один из них, рабочий, писал особенно талантливо, но почему-то лишь ямбом.

— Вероятно, не знает о существовании других стихотворных размеров. Нужно будет познакомить его с теорией поэзии, послать ему книг о стихосложении...

Светлые глаза Горького лучились улыбкой, низкий голос звучал тепло, слова дышали гордостью за рабочих-поэтов, способных писать так хорошо.

В некрасовском «Современнике» мне встретилась поэма Шевченко «Гайдамаки». Узнав, что я прочел ее в неудачном русском переводе, Горький сказал:

— Шевченко нужно читать в подлиннике.

— А вы, Алексей Максимович, знаете украинский язык?

— Ну, еще бы! — чуть снисходительно воскликнул он. Сообщил, что знаком и с польским, что овладеть славянскими языками нетрудно, и наставительно заговорил о том, что писатель должен быть образованным. Знать иностранные языки — необходимо, это — ключ к мировой литературе.

Вспоминаю вечер, вой ветра в трубе, облитые дождем темные окна, мягкий свет лампы, синие волны табачного дыма, песенку самовара, к которому мы, за отсутствием хозяйки, сами подходили со стаканами. Вспоминаю глухой кашель Горького, его устремленный на меня взгляд, внимательно присматривающийся и вместе с этим полный той серьезной думы, которую я заметил в нем раньше. И эта же дума о моей судьбе слышится мне в голосе Алексея Максимовича:

— Вам было бы полезно подольше пожить в Москве, войти в среду городского пролетариата, постараться понять взаимные отношения людей и силы, управляющие их жизнью. Суматоха



больших городов, пожалуй, неприятная вещь, но бывает полезно пожить в них, особенно поэту. Это обостряет...

Иногда Горький возвращался к воспоминаниям о заграничье, о сердечности и общительности тех людей труда, которых он изобразил в своих «Сказках об Италии». Если у кого-нибудь из них — радость, то ее празднуют и соседи.

Слова Горького были о дружбе, о солнце, «творящем сказки». Казалось, что частица этого солнца юталась и в нем самом, согревая его густой голос, озаряя улыбкой лицо.

— Двое моих знакомых зашли в таверну, — негромко говорил Алексей Максимович, облокотившись о стол: — Заняли места. Рядом сидела компания рабочих. Один из них, старый, горбоносый, в красной феске с кистью, услышав непонятный говор, подходит к русским и спрашивает: «Сеньоры — иностранцы?» — Да, русские. «О, русские! Мы знаем и любим русских. Мы просим сеньоров присоединиться к нам». Столики были сдвинуты вместе. Перед русскими появился кувшин красного вина, — то был подарок. Товарищи старика, смуглые подвижные люди, скаля белые зубы, дружелюбно смеялись русским, выкрикивали приветственные слова. В этом маленьком эпизоде было столько милого, человеческого!..

Горький повертел в руках спичечную коробку и, положив ее на скатерть, с воодушевлением заговорил о музеях, где собраны художественные шедевры мирового значения, о том, сколько сотворенной человеком красоты рассеяно на земле.

— Поэту, сударь мой, не мешает знать всякие виды искусства!..

А. Н. Тихонов дал на просмотр Горькому свою повесть. Отзыв был благоприятный.

Разговаривая с Тихоновым о его рукописи, Алексей Максимович спросил:

— А вы как работаете: регулярно?

И посоветовал:

— Писать надо каждый день в одни и те же часы. Попробуйте. Это быстро войдет в привычку. Когда придет время, вас уже само собой будет тянуть к столу. А пропустите свой рабочий час — и почувствуете, что вам чего-то недостает.

Однажды, когда пришли Тихоновы, Горький вынес из своей комнаты тетрадку, изрисованную его характерным почерком. В ней были новые рассказы.

Алексей Максимович сел к столу, опустил глаза на рукопись и приступил к чтению:

...«В ту пору я чувствовал себя очень шатко и ненадежно. Земля подо мною вставала горбом, как бы стряхивая меня куда-то прочь...

«А все-таки хотелось жить, видеть чистое, красивое: оно существует, как говорили книги лучших писателей мира, — оно существует, и я должен найти его»...

Горький читал просто, очень внятно и по-своему выразитель-

но. Рассказ о неудачной попытке молодого романтика найти «человека, похожего на тех, о которых рассказывали хорошие книги», брал за сердце силой своих невольно запоминавшихся образов и своеобразным, несколько грустным, юмором.

Другая вещь называлась: «Как сложили песню».

Слушая Алексея Максимовича, я вспомнил недавний разговор с ним о фольклоре.

Я сказал тогда, что книга, письменность вытесняют устное творчество — былину, песню.

Горький возразил:

— А стихи, напечатанные в книге, разве не народное творчество?

Он утверждал, что творчество народа продолжается непрерывно и никогда не иссякнет.

Рассказ о том, как две прислуги в наше время сложили песню, был для меня как бы художественным подтверждением мысли, высказанной Горьким в разговоре.

Дочитав последнюю страницу, Алексей Максимович обвел слушателей взглядом и спросил:

— Ну, что?

Тихонов сказал:

— Тут у вас сидит на заборе ворона. Я бы вычеркнул ее, — слишком уж она горьковская и, пожалуй, не в первый раз крестится бусиной глаза.

Горький промолчал, но с замечанием, видимо, не согласился. Ворона в рассказе осталась.

Жена Тихонова перевела прозой стихи из книги Ж. Тьерсо «Празднества и песни французской революции», подготовлявшейся к изданию на русском языке. Этим подстрочным переводам я должен был придать стихотворную форму.

Наклонившись над тетрадкой с переводами, Горький прочел вслух: «Слава тому, кто выделявает селитру», — и заметил:

— Нелегко уложить в стихи такую фразу.

Под усами пробежала легкая усмешка:

— Маяковский, наверно, перевел бы: «слава селитроделателю».

Собиравший вокруг себя писателей, Горький знал не только имя, но и поэтический стиль молодого Маяковского. Поэт был у него на счету. — через несколько месяцев в «Летописи» начала печататься поэма «Война и мир». Но Горький помнил фамилии и таких авторов, как владимирский гимназист Соболев, книжечку которого — перевод «Слова о полку Игореве» — я показал Алексею Максимовичу в Финляндии.

Через три года в Москве он спросил:

— А где теперь Соболев?

Вопрос дает представление и о колоссальной памяти Горького, и о его исключительном интересе ко всему литературному. Это был страстный интерес работника, влюбленного в свое

дело, волевой, активный интерес строителя новой литературы, писателя-революционера.

Когда Горький в вечер моего приезда убеждал Терьяна писать и по-русски, на языке многомиллионного народа, — это говорил собиратель писательских сил. Терьян ответил, что как бы ни хорошо владел он русским языком, — душевные мысли и чувства ему легче облекать в звуки родной речи. Алексей Максимович возражал. Литература — мощное средство художественного воздействия на массу народа, — чем шире круг этого воздействия, тем лучше.

Свое понимание агитационной силы художественного слова Горький выразил и в статье о книге, — о книгах, которые сочиняют писатели, — взяв эпиграфом к этой статье строки «Стиха о книге Голубиной»:

Мы про книгу славу поем,  
По Руси та слава не минуется.

Он любил книгу идейно насыщенную, пробуждающую сознание читателя.

Книга может воодушевить на подвиг, и книга же может отравить ядом безволия, тоски, дыханием пошлости.

А. М. Горький страстно желал умножить число хороших, нужных книг и стремился уменьшить действие книг вредных, отравляющих.

Запомнилось, как, наклонившись над свежим номером «Журнала журналов», он просматривал чью-то рецензию о недавно вышедшем дневнике толстовца Ив. Наживина. Рецензия называлась: «Ушибленный Толстым».

— Метко сказано, — одобрительно усмехнулся Алексей Максимович. И бегло прочел несколько приведенных в журнале строк дневника. От них шел нехороший душок ханжеского лицемерия.

В ту пору Горький и сам высказался в печати о произведении «ушибленного Толстым» беллетриста:

«Мне кажется, — писал он, — читателю должно быть ясно, что в лице Наживина он имеет дело с одним из многочисленных русских привередников, которые, скуки-ради, объявляют себя праведниками» («Издалика»).

Литература была главной темой его разговоров. Если Толстой, по свидетельству Горького, неохотно беседовал о литературе, то сам он постоянно испытывал потребность говорить о том деле, которое считал главным для себя.

Однажды Алексей Максимович упомянул о своей незаконченной повести «Мужики». Начало повести было напечатано в журнале «Жизнь». Редакция ждала продолжения, но автор молчал. Каково же было его удивление, когда продолжение все-таки появилось! Его прислала какая-то писательница. Мистификация выяснилась только после того, как присланное было набрано.

Говоря о своих неосуществленных замыслах, Горький вспомнил:

— Собрал всю литературу о Степане Разине, — хотел писать роман...

Роман о Разине, к сожалению, остался ненаписанным.

Нередко Горький говорил что-нибудь вне связи с основной темой беседы. Этими неожиданными для присутствующих утверждениями или отрицаниями он отвечал на свои думы. Чувствовалось, что в нем непрерывно происходит напряженная работа мысли.

После какого-то литературного разговора, глядя в окно, за которым колыхались желтые ветки, Алексей Максимович произнес:

— Нет, разум выше сердца, мысль надежнее, чем чувство...

В другой раз, так же внезапно, он заговорил о Христе и Прометее, — о том, что для него Прометей, как нравственный идеал, выше Христа.

Приехали Пришвин и Ладыжников.

И. П. Ладыжников, осуществлявший, как и Тихонов, издательские планы Алексея Максимовича, был крупен, полон, белокур. Писатель и охотник Пришвин — невысок, изящно сложен; казалось, что в его матовом лице с темными глазами и черной, курчавой бородой есть что-то от земли и лесной чащи.

Встреча была шумная и радостная.

Пред этим несколько дней шли дожди, но с приходом гостей погода неожиданно прояснилась, засияло солнце, заголубело лесное озеро.

Подойдя к окну, Горький сказал с улыбкой:

— Нынче день, как новенький гривенник.

На столе появился самовар. Алексей Максимович достал откуда-то пузырек, в котором было немного спирта, добавил в пузырек воды и разлил редкий по военному времени напиток в крохотные рюмки.

Он был рад гостям. Шутил:

— Лет через двести, вероятно, не нужно будет читать книг. Люди найдут способ передавать свои мысли как-нибудь иначе, — например, переливать их друг в друга в виде жидкости. Романы и повести будут пить рюмками.

Говорили о литературе, о писателях.

— Много пишете рассказов? — ласково спросил Пришвина Алексей Максимович.

— Нет, мало.

— Почему же?

Пришвин объяснил, что весь материал, который он накапливает, как художник, уходит у него на работу для газеты, на маленькие очерки. Он хорошо знал среду петроградских символистов и, отвечая на вопрос Горького: чем сейчас живет литературный мир? — рассказал любопытные вещи. По его сло-

вам, почтенные литераторы на втором году войны занимались религиозно-философскими исканиями, увлекались спиритизмом. Вертели в темной комнате столики, вызывали «дух» Наполеона и спрашивали: «Когда кончится война? «Кто победит?» Не помню, что отвечал Наполеон.

Горький слушал очень внимательно. Я видел его лицо в полупрофиль. Оно было серьезно и несколько грустно.

Затем Алексей Максимович с неожиданной страстностью заговорил о том, что он не верит в бога, не может признать его бытия. Бог — абсурд, бессмыслица, это можно доказать логическим путем: если во вселенной существует некто всемогущий и всеблагой, то почему он не избавит человечество от страданий?

Голос его звучал глухо, на глазах заблестели слезы, протянутые вперед руки дрожали от волнения.

Потом он, окружая себя облаками папиросного дыма, вспоминал Чехова, Каронина-Петропавловского, которого называл «одним из честнейших русских людей, святым человеком». Вспомнил также случай с Меньшиковым, сотрудником реакционной суворинской газеты «Новое время». В начале своей журналистской карьеры Меньшиков был либералом. Он «сжег все, чему поклонялся», с необычайной легкостью — в одну ночь. Поводом для этого была какая-то неудачная поездка к Чехову и уязвленное самолюбие в соединении с зубной болью. Не помню подробностей этой истории, но запомнилась ироническая усмешка Горького, его голос, тоже насыщенный иронией, и впечатление яркости, увлекательности рассказа.

Горькому нравилось перебирать в памяти образы прошлого, разглядывать их, как он разглядывал гравюры или старинные монеты. Казалось, он рассказывает не только для слушателей, но и для себя. Может быть, устная передача воспоминаний была подготовкой к передаче их на бумаге. Как морская волна обтачивает и шлифует камушки, так Горький, говоря о писателях прошлого, гранил и шлифовал те бриллианты, которые потом засверкали в его книгах.

Монеты тоже были показаны гостям в тот вечер. Сидели наверху, в комнате Горького.

Алексей Максимович придвинул к себе стоявший на столе портрет Толстого и сказал, любовно усмехаясь:

— Толстой — это же азиат, китаец. Он весь от Востока. Эта рамка с драконами так идет к нему!

Взглянул на соседний портрет Чехова в простой, без украшений, оправе и договорил:

— Вот Антон Павлыч — совсем другой. Тот был европейцем с головы до пят.

В эту минуту я подумал, что сам Горький весь наш, что он сын великого русского народа.

Чехова Алексей Максимович вспоминал особенно часто, — вспоминал и на следующий день. Это было так. Во время завтрака, просматривая свежую почту, Алексей Максимович

встретил в «Журнале для всех» маленький рассказ А. Неверова «Страх». Написанная в чеховской манере, эта вещь так понравилась Горькому, что он прочел ее гостям вслух.

В рассказе говорилось о том, как любопытная псаломщица, поглядывая ночью в полузанавешанное окно церковно-приходской школы, увидела, что новый учитель жжет в печке какие-то бумаги. Решив, что бумаги — «запрещенные», она рассказала о своем открытии мужу, а тот — священнику. Священник пошел в школу и заметил на столе учителя портрет Льва Толстого. Стало ясно, что новый учитель — «из красных». Тревожный слух дошел до благочинного. За учителем началась слежка. Стараясь изобличить «красного» педагога, батюшка на уроке закона божия спросил учеников старшего отделения, что они знают о Льве Толстом?

...«Ребята смотрели на батюшку удивленно. Влетит им за Толстого. Не иначе, это пророк был в роде Ильи с Елисеем, а они забыли. Самый бойкий поднял руку. Вслед за ним подняло руки и еще несколько человек.

О. Григорий торжествовал.

— Ну, вот и вспомнили. Расскажи нам, Козин!

Ободренный Козин весело начал:

— Пророк Толстой был праведной жизни, писал божественные книжки...

О. Григорий закричал:

— Кто? Кто? Пророк? Разве он пророк?

Козин поправился:

— Царь!

— Врешь, дурак, и не царь! Какой он царь? Граф! Где он жил? Ну-ка, ты, девочка, помнишь?

Заикаясь, тоненьким голоском девочка запела:

— А... г...граф Толстов жил в царстве иудейском»...

Дочитав рассказ, Горький сказал с улыбкой, радостной и в то же время немного грустной:

— Вот он, милый Антон Павлыч!

С приездом гостей трудовой распорядок его дня не изменился. После завтрака Алексей Максимович попросил Ладыжников, который собирался в лавочку за папиросами, опустить в почтовый ящик письмо. До обеда он, как всегда, писал, а после обеда и хозяин и гости, пользуясь ясным днем, пошли гулять.

Горький и Ладыжников, оба высокие, крупные, неторопливо шагали по шоссе. В колеях с дождевой водой отражалось чистое небо, от леса пахло сырým мхом и хвоей.

— Не поискать ли грибов? — предложил Алексей Максимович.

Сошли с дороги и побрели кто куда.

Грибов не нашли.

Возвращались домой в сумерках.

В одном месте Горький остановился и указал на большой дом, угрюмо темневший в стороне от дороги. Алексей Макси-

мович назвал имя Леонида Андреева. Дом был декоративно-мрачен, как театральные «ужасы» андреевских книг.

Горький улыбался, но в улыбке чувствовалась боль.

В то время Андреев писал шовинистические статьи. Вероятно, Горькому не легко было наблюдать падение литератора, с которым он когда-то встречался и переписывался.

Вечером собрались вокруг лампы. Толковали о новом журнале с «пораженческой платформой». Намечали будущих сотрудников, советовались, какие завести отделы, как назвать журнал. Добровольный секретарь этого негласного совещания, Тихонова, записывала предложения. Названия для журнала не придумали, — оно родилось позднее. Первая книга «Летописи» вышла через два месяца, но она уже виделась собравшимися за столом, яркая, волнующая, пахнущая свежей типографской краской.

В этот вечер Горький был весел, полон энергии.

Вспоминая свою прежнюю журналистскую работу, он предвкушал радость нового дела, новых битв. Шутил бодро:

— Поставим вместо столов и стульев фанерные ящики, вместо скатертей настелем газет. Тут — рукописи, там — чайник с кипятком. Будем писать и целый день чай пить...

В Петрограде готовилось «собрание представителей печати». Горький должен был выступить на нем с речью. Эта речь впоследствии вошла в сборник его публицистических статей. В ней Алексей Максимович высказал мучительно тревожившие его мысли об искусственно разжигаемом темными силами антисемитизме, о стремлении этих сил «внушить народу подозрительное и враждебное отношение к социальным и политическим идеям оппозиции». Связанный дружбой с В. И. Лениным и совместной работой с партией большевиков, Горький, единственный из русских писателей, поднял в эти кровавые дни знамя протеста против империалистической бойни, призывая всех «людей честного слова», всех передовых литераторов к объединению.

— Надену черный сюртук, — усмехаясь, говорил Алексей Максимович заглянувшему вечером Тихонову, — выйду на трибуну и начну читать по рукописи: «Милостивые государи и милостивые государи»...

Организуя «Летопись», готовясь к публичному выступлению против империалистической войны, Горький действовал вместе с большевиками, с Лениным. В то время Ленин звал рабочих и крестьян повернуть штыки против царя и буржуазии. Рабочий класс откликнулся на этот призыв массовыми стачками. В 1915 году в России было около тысячи забастовок. Царское правительство усмиряло рабочих свинцом и казацкими плетями.

В августе 1915 года заволновались измученные и разоренные войной иваново-вознесенские ткачи. В эти дни областной комитет партии большевиков выпустил прокламацию, объяснявшую, какой неисчислимый вред приносит трудящимся затеянная капиталистами бойня. Ивановский пристав Сабуров, отобрав одну из прокламаций, доставил ее полицмейстеру. Несколько

рабочих было арестовано. Аресты еще больше раздражили ткачей. Рабочая масса вышла с фабрик заявить, что война измучила трудовой народ, и требовать освобождения арестованных товарищей. Начальник ивановского гарнизона, полковник Смирнов, двинул против безоружных рабочих взвод солдат. От залпа в упор на камнях мостовой осталось лежать тридцать убитых и больше пятидесяти раненых ткачей.

Вспоминается теплый августовский день, ограда ивановской земской больницы. За оградой, в больничном дворе, лежало несколько трупов, — это были умершие от ран. В воротах больницы стояли солдаты с винтовками, впускавшие народ для опознания мертвых.

По застывшим лицам расстрелянных ползали мухи. На ситцевых рубашках, на потертых жилетках и пиджаках запеклась кровь. Прохожие молча смотрели на убитых. Некоторые плакали.

В сердцах нарастала ненависть к царским палачам, виновникам чудовищного злодеяния. Хотелось верить, что борьба рабочего народа против царя и буржуазии будет продолжаться дальше, и самодержавие будет свергнуто.

Теперь, находясь в гостях у Алексея Максимовича, я воочию видел, что лучшие люди страны, не взирая на репрессии самодержавия, как и раньше, поддерживают революционное пламя, что борьба, действительно, продолжается.

Горький сказал мне:

— Я должен уехать отсюда на некоторое время. Вы поживите здесь без меня, с книгами. Я скоро вернусь.

Перспектива остаться одному, без собеседника, испугала меня.

В доме по-русски говорила только беленькая горничная, подававшая нам обед, а перед ней я робел в десять раз больше, чем перед Горьким. Главной причиной смущения была моя, все еще обвязанная щека, — из-под повязки, кудрявясь, неудержимо лезла ранняя борода.

Лавочник финн, у которого я покупал папиросы, знал по-русски только числительные. Поэтому я решил тоже поехать с Алексеем Максимовичем.

В утро отъезда в мою комнату вошел русобородый человек в фартуке, стекольщик, — промазать на зиму окна. Привычно действуя стамеской, он вдруг обернулся ко мне.

— Трудится Алексей Максимович, — сказал он тепло и уважительно, кивнув на потолок: — Из нашего брата вышел...

Он чувствовал в Горьком своего, близкого человека.

В стекла брызгал дождь. В столовой я встретился с Горьким. Мы сели завтракать.

— Пишите для нового нашего журнала, — говорил Алексей Максимович: — Французские переводы постарайтесь сделать поскорее. Когда закончите, я пришлю вам финские и шведские подстрочники. Подберу для вас книг...



Очень хорош был он в то утро. Надо сказать, что в предшествующие дни, видя Горького занятым, я, из опасения помешать, старался обращаться к нему поменьше, пореже. К тому же мне было известно, что я не один у Алексея Максимовича. «Прозу еще не успел прочитать, за месяц мне прислали 47 рукописей», — писал он с Капри.

Но сейчас Горький как-то раскрылся, — заговорил о Финляндии, о жизни и быте финских рабочих, видимо желая дать на прощание мне, молодому, как можно больше материала для размышлений и сопоставлений.

Я спросил Алексея Максимовича, как написались у него такие вещи, как стихотворение о рыбаке и фее, «Песня о Буревестнике»? Почему в этом же стиле писал и Скиталец?

— Время было такое, — объяснил Горький: — А вам нравятся стихи Скитальца? В них много моих строчек...

Отодвинув допитый стакан чаю, он поинтересовался:

— А как действует на вас Леонид Андреев?

И, узнав, что первые рассказы Андреева, свежие и непосредственные, понятней и ближе мне позднейших сочинений этого писателя, одобрительно кивнул головой.

Затем Алексей Максимович встал и подошел к окну. За окном качались на ветру мокрые деревья; лесное озеро и горизонт скрылись за плотной завесой осенней мглы. Горький повернулся и, засунув руки в карманы, прошелся по комнате. Заметив, что я кашляю, он спросил с тревогой в голосе:

— Что это у вас?...

Слегка сутулясь, Алексей Максимович сидел у окна. В пальцах правой руки он держал папиросу, от нее тонкой сизой струйкой поднимался дым. Я глядел на струйку, на лицо Горького и слушал его слова:

— Теперь все научились писать хорошо. Техника письма стоит очень высоко. Почти все талантливы. Но все это — не то. Нам нужен гений. Наша страна еще очень молода, она весьма недавно начала жить культурной жизнью. У нас должен появиться гениальный писатель-демократ, великий народный поэт!..

Вошла горничная и сказала, что можно ехать.

Мы надели непромокаемые плащи, вышли на улицу и сели в тарантас. Кучер-финн тронул вожжами лошадь. Горький молча смотрел из-под резинового капюшона на красную ленту шоссе, на мокрый лес. Дождь то затихал, то снова усиливался.

Случилось так, что когда подошел поезд, мы сели в разные вагоны.

В густой толпе пассажиров, наполнивших большой вокзал в Петрограде, я не увидел Горького.

Было обидно, что не удалось проститься с ним.

Купив открытку, я написал в ней все, что должен был сказать Алексею Максимовичу, и, успокоенный, поехал домой.

Французские стихи я перевел, но мне казалось, что переводы неудачны. Посылая их Горькому, я выразил опасение, что вряд ли они пригодны для книги. Он отвечал:

«Стихи переведены вами, Д. Н., вовсе неплохо, вы — молодец.

«Скоро вышлю вам финских и латышских стихов.

«Книги тоже высылаю.

«Не написали ли чего? Пришлите».

Через несколько дней я получил подстрочные переводы финских стихов. Кроме них, в конверте было письмо Горького:

«Милый Дмитрий Николаевич!

«Посылаю вам для перевода 5 финских стихотворений, будьте добры отнестись к этой работе со всем вниманием, очень прошу вас об этом!

«Ваши переводы французских стихов всем нравятся.

«Так хотелось бы, чтобы вы нашли удовольствие в переводах. Скоро пришлю еще латышские стихи».

Переводы финских стихов предназначались для «Сборника финляндской литературы», который входил в серию затеянных Горьким сборников художественной литературы живущих в России народов.

С финскими переводами я задержался. Моя медлительность вызвала со стороны Горького напоминание:

«Дмитрий Николаевич, сообщите, в каком положении стихи, посланные вам для перевода, и — если они готовы, — высылайте их.

«Адрес: Петербургская сторона, Большая Монетная, 18, ред. журнала «Летопись».

«Присылайте своих стихов.

«Как живете?..»

Письмо Алексея Максимовича запоздало, пробыв в пути, но прихоти почты, ровно месяц. Помнится, к моменту получения письма переводы были уже сделаны и отправлены.

Оказалось, что Горький давно послал мне обещанные книги, но они почему-то вернулись назад. Это явствовало из следующих строк:

«Дмитрий Николаевич!

«Сегодня почта возвратила пакет книг, посланных вам и неполученных вами, хотя по сведениям почтовой конторы, посылку вы получили. Удивляюсь.

«Что делать с книгами? Напишите. Давайте стихов, лентяй.

«Будьте здоровы!..»

По моей просьбе Горький послал книги вторично. На этот раз они дошли. Крепко запомнился зимний солнечный день, когда я нес их со станции, где находилась почтовая контора. Дома все было десятки раз перечитано, — тем дороже казался горьковский подарок. Разорвав плотную серую бумагу, в которую были запакованы книги, я нашел целую библиотечку. Тут были: три тома «Песен», собранных П. Н. Рыбниковым,

Бялик — «Песни и поэмы», В. Г. Короленко — «Очерки и рассказы», М. Горький — «Матвей Кожемякин», «Городок Окуров», «По Руси», «Жизнь ненужного человека», «Пожар».

Через несколько месяцев, когда я поступил на «должность», мои серенькие чиновничьи будни также скрасила полученная от Горького «Летопись» — все вышедшие к этому времени номера журнала.

Летом 1916 года Алексей Максимович, прочитав присланную мной газетную вырезку с рассказом владимирца Я. Е. Коробова, ответил:

«Коробов — интересен. Предложите ему написать несколько маленьких рассказиков и пускай пошлет мне; может быть, годятся для «Летописи».

«Обратите его внимание: пишет он небрежно и, порою, неправильно, — «гнездов» вместо «гнезд». Не нужно злоупотреблять местными речениями. Наиболее меткие — это хорошо, но — надобно пользоваться ими умело.

«Есенин написал плохую вещь, это верно.

«Как ваши стихи?

«Вчера только приехал из Крыма.

«Как здоровье ваше? Поправились ли за лето?..

«Плохая вещь Есенина — повесть «Яр», напечатанная журналом «Северные записки».

Коробову Алексей Максимович прислал отдельное письмо. Но, кажется, занятый работой в газете «Старый Владимирец» Я. Е. Коробов ничего не написал для «Летописи». В большую литературу он вошел значительно позднее, — уже после революции, с переездом на жительство в Москву.

Помня совет Горького писать прозой, я и сам сочинил рассказ. Отправляя его Алексею Максимовичу, я привел в письме несколько услышанных в деревнях частушек о войне. В них уже чуялся гром надвигавшейся народной грозы. Частушки были такие:

Как не хочется к Романову  
В работнички итти!  
У Романова работников  
Сажает на штыки.

Николаю в пузо ножик —  
Безо время нас тревожит,  
Безо время, без поры  
Нас на бойню повели.

Найди, туча, найди, гром,  
Разрази казенный дом,  
В том дому убей того,  
Кто забрал дружка мово.

Горький отвечал:

«Рассказик вышел у вас весьма недурно, будет напечатан. Попробуйте написать еще.

«Спасибо за частушки, это интересно.

«Вот что. Не напишете ли два, три стихотворения для детей? Книгоиздательство «Парус», в котором я участвую, издает «альманах для детей» — небольшой сборник рассказов и стихотворений. Попробуйте!

«А также давайте стихов для литературного сборника «Парус», который мы составляем.

«Работайте больше, читайте, учитесь. Толк будет!

«Жму руку...»

Это письмо было прислано уже по новому адресу, — с осени я сделался «вольнорабочим канцелярским писцом» Ивано-Вознесенского государственного банка.

Гром, который призывала частушка, разразился.

Пришла революция.

В эти бурные дни, в семнадцатом году, я получил следующее предложение Горького:

«Дмитрий Николаевич!

«Если у вас есть стихи, — пришлите для сборника...

«Присылайте больше»...

Письмо было адресовано делопроизводителю городской управы, в которого я превратился, уйдя из банка. А скоро я поступил в редакцию газеты «Рабочий край», о чем и сообщил Горькому при посылке каких-то стихов. Он отозвался на мое послание такими строчками:

«Очень рад получить весточку о Вас, Д. Н.! По долгу вы молчите!

«Летопись» давно закрыта... Стихи ваши частью пойдут в журнале «Вестник Свободы и Культуры», а часть — возвращаю.

«Третья строфа «Марсельезы» — слаба, рушник и брага — неуместны после зарева, знамен и т. п.

...«Сегодня еду в Москву на неделю, очень занят!

«Будьте здоровы, дорогой!

«Пришлите книжку»...

Книжка, которую просил прислать Алексей Максимович, была, вероятно, одним из сборников, свидетельствовавших о рождении в Иванове своей литературной жизни.

Конец восемнадцатого года принес новые строки Горького:

«Дмитрий Николаевич!

«Очень рад, что получил Ваше письмо, давно собирался написать Вам.

«Издание текущей художественной литературы я налаживаю, будем издавать ее сборниками. Это, вероятно, скоро осуществится.

«К Вам у меня есть просьба...»

Дальше Алексей Максимович предлагал мне работу для се-

рии задуманных им сборников. Работа заключалась в переложении старинных поэтических текстов на современный язык.

...«Надо взять из прошлого все лучшее, все прекрасное, что там есть, и пустить это в широкий оборот, так?»

«Отвечайте скорее, берете ли на себя эту работу? Я уверен, что Вы должны сделать ее и охотно, и хорошо.

«Как живете? Читал Ваши стихи в воронежской «Сирене». «Будьте здоровы»...

Месяц спустя Горький снова писал о переложениях, которые я взялся выполнить:

«Милый Дмитрий Николаевич!

«С переводами... можете не очень торопиться, но пожалуйста считайте это дело — делом важным и очередным! Очень прошу!..

«Вот так-то, дорогой мой!

«Переводы — купно с основным текстом — направляйте в двух экземплярах, один по адресу: Кронверкский, 23, мне; другой: Невский, 64, «Всемирная Литература», тоже мне; это необходимо ввиду расстройства почты.

«А как послать Вам денег? Могу оставить их в Москве... Я буду там во вторник, — сегодня пятница, 17-е (января 1919 года Д. С.). — проживу с неделю»...

Прочитав это письмо, я решил отправиться в Москву, чтобы лично поговорить с Горьким о переложениях.

С караваем хлеба в руках я втиснулся в набитую народом темную теплушку. Через сутки поезд подошел к Москве.

Был морозный вечер. Голубоватую уличную мглу колыхали сине-зеленые вспышки трамвая. Я доехал до Чистых Прудов и через несколько минут входил в подъезд того дома, где впервые увидел Горького.

Швейцар с серебряными галунами на ливрее стоял при дверях, как и четыре года назад. Но лифт не работал.

Вид у меня был самый деревенский: заячья шапка, башлык, короткая ватная тужурка да еще обернутый пестрым ситцевым платком каравай под мышкой, но родные Алексея Максимовича узнали меня.

— Хорошо, что вы пришли. Алексей Максимович просил передать вам книги.

— Он еще не приехал?

— Мы ждем его завтра.

Ночлега у меня не было, но просить приюта у родных Горького показалось неудобным.

Простившись, я вышел на улицу. Медленно падали сухие редкие снежинки.

Начал спрашивать встречных, не знают ли они где гостиницы? Ответы были неутешительные. Какой-то добрый человек посоветовал мне попроситься на ночлег в милицию.

В участке жарко топилась печка, бросая красные отблески на истертые половицы. За столом сидел дежурный. Он просмотрел мои документы. Потом меня вежливо провели за невысокую перегородку — в «холодную», которая была холодной скорее по названию, чем по температуре.

Я лег на нары и крепко проспал до утра.

— Алексей Максимович дома?

— Дома, раздевайтесь.

Стуча по светлому паркету подмороженными валенками, я прошел в столовую-гостиную и сел на диван.

За дверью послышалось знакомое густое покашливание, дверь отворилась. Быстрыми шагами в комнату вошел А. М. Горький.

От его взгляда, от улыбки попрежнему веяло неистощимой, заразной бодростью, великой духовной силой.

Алексей Максимович был почти такой же, как в Финляндии, разве только морщины углубились да сильнее засеребрились волосы.

Сказав несколько приветственных слов, он присел к столу и с ласковой серьезностью повел речь о предстоящей мне работе:

— Постарайтесь, сударь мой, отнестись к ней внимательно, полюбите ее. Я верю, что это выйдет у вас. Вы сделаете хорошее, нужное дело...

Ясно и холодно голубел морозный день. На стол подали кофейник и два стакана. Оказалось, что кофе придется пить без сахара, обедать — без хлеба. Это было в дни очередей за пайками, продовольственных карточек, мешечников.

Тут пригодился мой каравай. А в прудном кармане пиджака я нашел кусочек сахара, уцелевший от чаепитий в редакции «Рабочего края», и предложил его Алексею Максимовичу. Он взял кусок и щипцами расколол его пополам.

— Вы где остановились? — спросил меня Горький, разливая кофе по стаканам.

— Нигде.

— Пока будете в Москве, живите у нас, — предложил он.

И начал спрашивать об Иванове, о работе в газете, о стихах.

Говоря о своем житье, рассказывая об ивановских писателях, я пожаловался, что дома мне нехватает музыки.

— Сегодня услышите хорошую музыку, — обещал Горький, — придет один молодой композитор, очень талантливый.

В комнату вошел Максим. Он подросток, возмужал.

Горький горячо любил сына.

Вечером — не помню, по какому поводу, — Алексей Максимович рассказал, что когда Максиму делали какую-то серьезную операцию, то он, отец, находившийся в это время в опе-

рациональной комнате или где-то рядом, не выдержал, потерял сознание.

Сейчас Горький дружески разговаривал с сыном о его делах. — из разговора выяснилось, что Максим стал членом партии большевиков. Горький ласково усмехался. Потом он принялся рассказывать о своем впечатлении от новой постановки пьесы «На дне», сделал несколько замечаний о недостатках игры. Заговорил о предполагаемом издании большой литературной газеты, о писателях и книгах.

О модном у буржуазного читателя, Рабиндранате Тагоре он сказал, пожав плечами:

— Не понимаю, чего с ним носятся! Это же — Шелли, переведенный с английского на индусский и затем обратно, — с индусского на английский.

А современному русскому стихотворцу из «музыканствующих» дал такую характеристику:

— Кустарь. Чтобы писать такие стихи, едва ли требуется вдохновение. — была бы усидчивость.

Положив руку на спинку стула, Горький стоял у стола и улыбался чуть презрительно:

— Да я вам сколько угодно таких стихов наплету...

Беседу прервал приход писателя Георгия Чулкова. Немного позднее явился престарелый детский писатель, очутившийся без работы. Пока мы с Чулковым сидели в столовой, Алексей Максимович в соседней комнате говорил с детским писателем. Старик уходил, радостно взволнованный.

Этих писателей сменили новые.

Пришел давний приятель Горького, рабочий, коммунист. Он был невысок, коренаст. На его русском лице блестели небольшие быстрые глаза. Невидевшиеся несколько лет, хозяин и гость расцеловались.

Гость сказал:

— Ну, Алексей Максимович, я у вас хлеб отбиваю, — заделался редактором нашей губернской газеты...

Горький усадил редактора в кресло и сам сел напротив. Начались расспросы, воспоминания о знакомых, — о людях, которые прошли через тюрьму, через ссылку и теперь строили новую жизнь.

Среди разговора Горький взял со стола большой конверт, оклеенный иностранными марками. Вынул из него сложенный вчетверо, хрустящий лист.

— Вот, получил письмо от мексиканского министра. Предлагает свои услуги, просится к нам на работу. Так-то!..

Лицо Алексея Максимовича светилось гордостью за советскую страну.

Потом сидели в той маленькой комнате, где час назад Горький принимал детского писателя. Алексей Максимович просматривал газету своего друга. Статьи, написанные самим редактором, были отчеркнуты красным карандашом.

— Пишем еще плоховато, — говорил редактор: — Ну, научимся!..

Раздался новый звонок. Женский голос спрашивал, можно ли видеть Алексея Максимовича? Покинув нас, Горький вышел в большую комнату. В неплотно задернутую портьеру нам были видны широкие поля шляпы, четкий очерк тонкого, бледного лица.

По уходе гостьи-писательницы, Алексей Максимович сказал с восхищением:

— Замечательная женщина! Перенесла сложнейшую операцию, буквально вся изрезана, а как работает, как велик запас ее духовных сил!..

Жизнь причинила Горькому много зла, но ее удары не исказили его мощной и доброй души. Как никто другой, он умел видеть в людях черты человека, самое имя которого звучало для него гордо. Та неистребимая вера в человеческий разум и волю, которая наполняла книги Горького, теперь слышалась в его голосе, выражалась в улыбке и взгляде.

— Да, удивительные люди, удивительное время, — задумчиво сказал он, покачав головой.

К обеду должен был приехать В. И. Ленин, но время шло, а его все не было.

Сын А. М. Горького Максим позвонил в Кремль. Ответили, что Владимир Ильич уже выехал.

Разговор не вязался.

Прошло с полчаса.

Все сели за стол.

После выяснилось, что В. И. Ленин подъехал к дому, вошел в подъезд, но лифт был испорчен, а взойти на четвертый этаж Владимир Ильич не мог: помешала еще незажившая рана. Он сел в автомобиль и уехал.

Композитор, о котором так одобрительно отзывался Горький, оказался совсем молодым человеком с миндалевидными, влажно блестящими глазами. Он принес с собой несколько чьих-то ученических пастелей. Горький радостно любовался их мягкими тонами; он находил, что начинающий художник несомненно талантлив.

Январский день смеркся. Включили свет. Музыкант сел за пианино. Он играл и классиков, и новых композиторов. Горький говорил:

— Вы добились больших успехов. Раньше у вас не было такой четкости, такой чистоты звука.

Было видно, что Алексей Максимович понимает и чувствует музыку так же глубоко, как и литературу, живопись, театр.

— Классиков, классиков давайте, — требовал он, обращаясь к пианисту.

В этой же самой комнате слушал любимые сонаты Бетховена и В. И. Ленин, — музыка вызывала в нем восторженное удивление пред человеческим гением.



В тот вечер тоже звучал Бетховен.

Горький сидел, опираясь на ручки кресел и немного подавшись вперед, в ту сторону, откуда шли звуки. По его лицу катились слезинки. Когда последний аккорд замер, он произнес взволнованно:

— Какая это дивная вещь!..

Еще в Финляндии я увидал, как неотразимо действует на Горького все прекрасное: старинная гравюра, стихотворение Пушкина, барельеф редкой монеты. А раз он упомянул о встреченной им где-то в Италии статуе, — гармония линий, их благородная чистота до слез тронули его.

Даря музеям картины, коллекции монет, восточные вазы, Горький стремился сделать искусство доступным народу. Он хотел, чтобы заключенная в искусство творческая энергия человека вызвала в массах еще более мощную волну творчества.

Наполнив комнаты веселым оживлением, пришли новые гости. Разговор за чайным столом начался с театральных новостей. Потом как-то само-собой вниманием всех завладел Горький.

Устремив вдаль задумчивый взгляд посветлевших глаз и дымя папиросой, он рассказывал о прошлом, о встречах с замечательными людьми.

Целый день Алексей Максимович не курил и только к вечеру для него достали папирос. Они лежали в соседней комнате на комодке. Время от времени Горький, прервав рассказ, вставал и шел за папиросой.

Увлеченные его воспоминаниями, гости засиделись до поздней ночи.

На другой день я поблагодарил Алексея Максимовича за гостеприимство, простился с ним.

Уже в передней, провожая меня, он сказал несколько слов о вчерашнем концерте, затем — о стихах Уитмэна, — в них Алексея Максимовича не удовлетворяла форма.

Я оделся, взял книги и хотел идти, но Горький остановил меня:

— Подождите, ведь у вас курить нечего...

Сходил в комнату и вернулся с пачкой папирос.

Подарок шел не от избытка, и не следовало брать его, но Алексей Максимович предлагал так настойчиво, в глазах его я видел такую большую доброту, что отказаться было нельзя.

До революции Иваново-Вознесенск, несмотря на свое промышленное значение, считался, как административная единица, безуездным городом; поражал неблагоустроенностью и культурной отсталостью. Связанные с Ивановом писатели-одиночки не любили его и рвались на сторону. Ивановский уроженец, писатель-народник Ф. Д. Нефедов, называл родной город «болотом».

«Не знаю, что ждет меня в этом болоте», — писал он в своем дневнике 1863 года, собираясь в Иваново после неудачной попытки поступить в университет, — «война с невежеством, с грубой силой зоологического царства и многое в этом роде? Нерадостная картина будущего!..»

Грозные годы гражданской войны пробудили в Иваново небывалую волну культурного подъема. В дни, когда, казалось, было не до литературы, когда истощенные ткачи с красными знаменами шли навстречу боям, когда от захваченного мятежниками Ярославля доносился гул артиллерийской канонады, — в эти дни в Иваново выросла целая группа своих, советских, писателей. Обращаясь к текстильному городу, поэт Иван Жижин сказал:

Жезлом железной диктатуры  
Ты облик зверя быстро стряс  
И на горах мануфактуры  
Ты сотворил себе Парнас.

На ивановском Парнасе встретились деревенские парни, кухаркины дети, бывшие солдаты, старые и молодые рабочие. Собираясь в нетопленной комнате, поэты грелись кипятком с сахаринном, читали стихи. В стихах было немало сора, но попадались и крупинки золота.

Рукописи кружка шли в газету «Рабочий край», издавались небольшими сборниками и альманахами. Литературная работа ивановцев вызвала ряд откликов. Об ивановских поэтах писали Луначарский, Ольминский и др. Но первым, кто глубоко заинтересовался ивановскими литераторами, был Горький.

Непоколебимо веря в духовные силы народа, он страстно ждал: вот распустятся первые цветы творческой весны! Отсюда — внимание Алексея Максимовича к ивановским поэтам, о которых я рассказывал ему в Москве и после — в письмах.

Через два месяца после своей поездки я получил от Горького такую записку:

«С нетерпением жду переводов, уверен, что вы, Д. Н., сделаете их хорошо.

«Пришлите мне стихов Сер. Семина.

«Крепко жму руку, спасибо за поздравление, писать некогда...»

Бывший пастух Сергей Семин удивлял всех, знавших его, своей одаренностью. В империалистическую войну, сидя в окопах, он научился грамоте, прочитал Пушкина и начал сочинять сам. Его стихи, написанные каракулями малограмотного, были певучи, просты и свежи. Семину хотелось учиться, но его силы были надорваны. В двадцать с чем-то лет он казался стариком и через два года умер от сыпного тифа.

По письму Горького от 16 января 1919 года видно, что стихи Семина и другого ивановского поэта Жижина он нашел талантливыми:

«Милый Дмитрий Николаевич!

«Зачинаю здесь журнал «Завтра»...

«Очень прошу вас — пришлите стихов своих, Жижина и Семина. Стихи Жижина свидетельствуют о его таланте, Семина — жиже.

«Пришлите №№ «Рабочего Края», в которых напечатаны частушки.

«Действуйте скорей...»

Иван Жижин был сыном прислуги-вдовы. Как и Семина, он не получил никакого образования и своим развитием был обязан исключительно личным усилиям. Стихи Жижина отличались смелостью образов и чеканкой поэтической фразы.

Главным организатором ивановских литературных начинаний был старый правдист Мих. Артамонов. Его стихи были известны Алексею Максимовичу и раньше. Артамонов участвовал в одном из «Сборников пролетарской литературы». Он усердно снабжал «Рабочий край» своими песенками деревенского гармониста.

Положительную оценку ивановских поэтов Горький сохранил на долгое время.

Ш. Маначурьянц в статье «Что и как читал Ленин (заметки библиотекаря)»<sup>1</sup> вспоминает:

«Иногда Ленин просил достать ему какую-нибудь книгу, газету или журнал, на которые ему указывал кто-либо из товарищей.

«После приема А. М. Горького мне передали такую записку: «Прошу достать (комплект) «Рабочий Край» в Иваново-Вознесенске.

(Кружок настоящих пролетарских поэтов).

Хвалит Горький.

Жижин, Артамонов, Семеновский.

28—I—1921 г.»

По словам Маначурьянц желание В. И. Ленина было исполнено: комплект «Рабочего края» ему доставили. Владимиру Ильичу просил хранить его в том шкафу, куда складывались книжные новинки. Но очередная работа не позволила Ленину ознакомиться с ивановскими стихами. Спустя некоторое время он сказал, что ему некогда будет просмотреть газеты и просил отправить их в Социалистическую академию.

В 1922 году Горький — за границей, он — болен, но по-прежнему помнит ивановских поэтов. В эти дни в Иваново пришло письмо секретаря русского «Книгоиздательства в Берлине»: ссылаясь на указание Горького, он предлагал ивановцам присылать в издательство свои вещи. Предложением поэты не воспользовались, так как можно было печататься и дома, в Советской России, но Алексею Максимовичу за память остались благодарны.

Прошло несколько лет. Некоторые ивановские писатели

<sup>1</sup> Газ. «Правда» № 17, 1927 г.

стали известны за пределами области. Ефим Вихрев написал интересную книгу о Палехе, Николай Колоколов — роман «Мед и кровь». Алексей Максимович прислал обоим авторам хорошие письма.

В Иваново подрастали новые литераторы. Они также посылали Горькому свои работы. Иногда это были полудетские стихи, скорее говорившие о юном возрасте автора, чем о его достижениях. Но Алексей Максимович умел отнестись серьезно и внимательно к каждому.

«Говоря откровенно, — писал он в 1928 году Мих. Маркову, — стихишки ваши «так себе», т. е. не хороши. Такие «образы», как «стая оврагов», «окунутые в поте» и проч. — это плохо. Еще хуже то, что Есенина вы ставите выше Пушкина и Лермонтова, — это уже совсем скандал! Но мало ли какую чепуху может сказать человек 18 лет от роду! Я тоже, вероятно, такие же оглобли гнул в вашем возрасте, как вы гнете. В эти годы печататься не следует, а надобно учиться во всю силу, вот что, сударь мой! А таких стихов, как ваши, теперь печатают версты. Однако, «В глуши» не так уж плохо, если выкинуть «стаю оврагов».

«Поэтому очень рекомендую вам: учитесь, детушка!»

Прямое, сурово-откровенное письмо Алексея Максимовича принесло Маркову пользу: юный автор начал учиться, поступил в вуз. К слову он стал относиться строже, — особенно после второго горьковского письма:

«В стихах, присланных вами, хороши только две строчки, подчеркнутые мною. Все остальное не оригинально и плохо. У вас нехватает слов и вы для «соблюдения размера» удваиваете одно и то же слово. Это — странно, потому что слух у вас, кажется, неплохой, да и вкус к слову, к образу как будто есть.

«Но вы пишете:

„У тоски ни барьеров, ни граней,  
Как ольховых ветвей у осин,“

«неужели последняя строка, дважды повторенная вами, нравится вам?..»

Горький поддержал и молодого ивановского беллетриста Мих. Шошина.

Прочитав рассказы Шошина, Алексей Максимович написал ему:

«Записки плохого поэта» и «По заволжским просторам» вполне определенно говорят о вашей даровитости. Говорят о том, что вам доступно чувство дружбы к людям, чувство доверия к жизни, — это чувство не часто встречается выраженным так просто, искренно. Вы хорошо видите жизнь и знаете, о чем надобно писать. Изобразительные средства у вас — не плохи, но могут и должны быть лучше, богаче. В приемах работы чувствуется влияние М. М. Пришвина. Это — весьма крупный художник и у него есть чему поучиться, но не забы-

вайте. что одно дело — учиться, другое — подражать. Я думаю, что вы человек достаточно своеобразный, вижу, что у вас есть свой — и не малый — опыт, он требует вашей, а не чужой окраски и потому повторяю: учитесь, но не подчиняйтесь. Вам следует заняться языком. Не хочу сказать, что он плох, но еще беден, требуется, чтобы вы обогатили его...

«Избегайте таких слогов, как: «шущих», «щая», «щей», «вшей», а также вообще свистящих и шипящих везде, где они не звукоподражательны: «трепещущая тишина» не изображает тишины, потому что слога «шу», «ща» слишком определенно звучат»...

Не ограничиваясь перепиской, Горький разослал рассказы молодого автора в разные издания, привлек его к сотрудничеству в журнале «Наши достижения». Как всегда, Алексей Максимович радовался появлению нового талантливому писателя и старался облегчить ему продвижение в большую литературу.

Летом девятнадцатого года Горький обрадовал меня вестью о том, что мои стихи будут изданы книгой:

«Дмитрий Николаевич!

«Я показал Ваши стихи А. А. Блоку, рецензию которого прилагаю в поучение Вам. Блоку — верьте, это настоящий — волею божией — поэт и человек бесстрашной искренности.

«Часть стихов, выбранная им, будет издана новым книгоиздательством «Жизнь мира», часть, признанную лишней, возвращаю... исправьте посвящение жене, «Богатыря».

«Дайте коротенький очерк вашей жизни и воспитания.

«Деньги получите, как только будет составлена книжка. Торопитесь возвратить исправленное...»

Своей высокой оценкой Блока, как поэта и человека, Горький как бы вносил поправку в другой, более ранний отзыв о нем, — в отзыв, основанный на отрицательном отношении Алексея Максимовича к символистам, которых он осуждал за оторванность от жизни и голый эстетизм.

...«Блок? — писал он мне в 1915 году: — Я отношусь к нему внимательно, но — недоверчиво. Мне кажется, что он слишком литератор, вдохновение его холодно, почерпает он его из книг, как я чувствую. Те стихи, которые вы привели в письме ко мне, я знаю и тоже считаю их книжными. Все, что сказано в них про Русь, не однажды говорилось Хомяковым, Аксаковым, это можно встретить у Языкова, даже у Огарева. Старо, книжно. Своих слов — мало, своего отношения — не вижу, не чувствую. Иногда Блок говорит смешные вещи, например: «О родина! Жена моя!» Это вызывает у меня комическое впечатление»...

Как известно, Блок сумел подняться неизмеримо выше той среды, которая воспитала его. Искренний и честный порыв

поэта, звавшего «всем сердцем, всем сознанием слушать революцию», — по-новому осветил его образ.

Работая вместе с Блоком в издательстве «Всемирная литература», Горький увидел его в новом свете.

Приехав в двадцать первом году в Москву, я снова встретился с Алексеем Максимовичем.

Стояла теплая погожая осень. Москва была тиха, просторна и золотиста. Трамваи не ходили, рельсы заросли редкой травой. Я остановился у знакомого поэта. О встрече с Горьким заранее условился по телефону.

Узнав, что я увижу Горького, мой знакомый попросил передать Алексею Максимовичу свою недавно вышедшую книгу. Он был человек даровитый, но иногда его поэмы страдали напыщенностью и холодностью.

В назначенное время, во второй половине дня, я был у Горького.

Поздоровавшись с ним, передал ему книгу своего знакомого. Алексей Максимович раскрыл ее, пробежал глазами несколько строчек и сказал вопросительно:

— Кажется, трескучие стихи?

Заглянул в предисловие, — оно было написано известным литератором в выражениях (как будто хвалебных, но в то же время достаточно осторожных).

Черты Горького озарила усмешка:

— Хитрый!..

Определение относилось к автору предисловия.

Алексей Максимович положил книгу на письменный стол. Разговор происходил в той комнате, где три года назад мы слушали музыку.

Мне хотелось посоветоваться относительно некоторых недоуменных вопросов. Я взволнованно передал Горькому свои мысли. Он смотрел мягко, вдумчиво. Его слова дышали всепониманием. Что-то теплое, как ласка осеннего солнца, чувствовалось сейчас в Горьком.

Между прочим, я спросил о судьбе своих переложений.

Алексей Максимович ответил, что надеется напечатать их. И, немного помолчав, неожиданно прибавил:

— Вы не совсем правильно поняли меня. Нужно было дать образ женщины, матери всего прекрасного, что есть на земле...

В ответе было столько горьковского!

Прославив чудесными словами матерей, «сеющих в человеке все, чем он славен», Горький хотел, чтобы и другие слагали

Песнь о сердце мира, о волшебном сердце

Той, кого мы, люди, матерью зовем.

Неожиданно он закашлялся.

Приступ кашля был сильный, лицо Алексея Максимовича

покраснело от напряжения, на глазах навернулись слезы. Он прижал худые руки к груди и, большой, костлявый, горбясь, сидел на стуле, а сам все кашлял — глухо, как в бочку.

В эту минуту я с острой болью вдруг увидел, что Горький — физически не тот, каким был прежде. Затяжной надсадный кашель, впалые щеки, острые скулы, глубокие морщины говорили о том, что Алексей Максимович очень нездоров. Как-то виновато улыбнувшись, он встал и вышел в соседнюю комнату.

Скоро Горький вернулся и продолжал разговор.

Мой сборник в издательстве «Жизнь мира» почему-то не вышел. Но Алексей Максимович не оставлял мысли помочь мне в издании книжки. Он хотел, чтобы я прислал ему все написанное.

— Я уж сам отберу, что нужно, только смотрите, все стихи присылайте, — сказал он, сделав ударение на слове «все».

И напомнил, чтобы я обратился к И. П. Ладыжникову за гонораром.

— Мы, наверно, должны вам.

Больной, нуждавшийся в лечении и отдыхе, Горький продолжал думать, заботиться о других.

Я спросил, кто из молодых писателей кажется ему наиболее талантливым?

Алексей Максимович оживился и начал перечислять фамилии. Он горячо верил в будущее нарождающейся новой литературы.

Вспомнил ленинградских «Серапионовых братьев», ярко одаренного, рано умершего Льва Лунца.

— Через несколько лет у нас появится ряд прекрасных писателей, — памятно сказал Алексей Максимович: — Это для меня несомненно. У нас будет большая, новая, советская литература!..

Непоколебимой уверенностью звучали его слова.

В 1922 году, посылая Горькому изданную в Иваново книжку своих стихов, я пожаловался на мучительное чувство недовольства собой, качеством своей работы. Ответ Алексея Максимовича своим сердечным и бодрящим тоном напомнил мне первую встречу:

«Книжку Вашу я получил, почти все стихи ее я знаю, а Вы знаете мой отзыв о них... Вы помните, конечно, что мое к Вам отношение, как к талантливому человеку, было подтверждено А. А. Блоком...

«Послушайте: известная доля неудовлетворенности собою, своей работой — всегда и обязательно должна быть присуща каждому искреннему писателю; эта неудовлетворенность, являясь источником его мук, является в то же время залогом непрерывности его роста. Так. Но — у Вас неудовлетворенность собою принимает болезненный характер и я боюсь, что это обессилит

Вас. Поэтому Вы, сударь, должны бороться и умерить это чувство недовольства собою. Вы—поэт и больше ничего! Вы прежде всего — поэт. С этим Вы ложитесь спать, с этим встречаете восход солнца, суету дня, людей, собак, комаров, огорчения, радости, — все, чем наполнен день Ваш и ночь.

«Вы кем-то призваны окрасить мучительно трудную жизнь людей в яркие краски звучных слов, — вот Ваше дело! Вы обладаете способностью видеть жизнь более значительной и красивой, чем она есть, — вот Ваше отличие от множества миллионов людей, для которых Ваша оценка жизни может дать много и пользы и радости.

«Довольно скрипеть и ныть, Семеновский! Вам надо писать, надо немножко — чуть-чуть! — любить себя за то, что Вы делаете. Делаете же Вы хорошее дело — хорошо.

«Будьте здоровы и работайте, а я попытаюсь переиздать Вашу книжку здесь и прислать Вам денег.

«Сердечный привет. А. Пешков».

В короткой приписке Горький повторил:

«Будьте здоровы, милый, и работайте. Присылайте стихи сюда. А. П.»

Безуездное Иваново после революции стало центром большой области.

В состав Ивановской области входит и приволжский городок Плес. Недалеко от Плеса, в красивом доме, глядящем окнами фасада на Волгу, отдыхают ивановские ткачи. Раньше дом принадлежал Федору Шаляпину. Однажды здесь побывал и Горький. В то время хозяевами города Иванова были жадные, невежественные фабриканты.

Иваново 1928 года резко отличалось от старого, дореволюционного. В городе шло кипучее строительство: появились фабрики-дворцы, новые рабочие поселки, театры, клубы, школы. Повысился культурный уровень текстильщиков. Кружок поэтов был только одним из признаков того процесса, который происходил в сознании ивановцев.

Вернувшийся в этом году на родину, Горький, готовясь к летней поездке по Советскому Союзу, собирался побывать и в Иваново.

Но в Иваново он не попал.

Тем не менее, Алексей Максимович продолжал поддерживать связь с ивановцами. Он следил за ивановскими газетами, очень интересовался замечательной ивановской новостройкой — Меланжевым комбинатом.

Осенью, перед отъездом в Сорренто, Алексей Максимович, говорят, спрашивал и обо мне: что я делаю, как расходуется моя книга?

Эти вопросы Горького, видимо, были не только проявлениями личного участия.



произнес эти памятные слова, и вот его предсказание сбылось полностью.

Хмурясь от резкого света прожекторов, высокий, массивный, с морщинистым лицом, в роговых очках, Горький стоял на трибуне, а на него сотнями глаз смотрели новые советские писатели.

Алексей Максимович читал доклад о советской литературе. Его ровный голос, время от времени прерываемый басистым кашлем, раздавался в тишине огромного, жарко дышащего зала. Когда чтение закончилось, тишина разрядилась грохотом рукоплесканий. Горький смущенно удалялся в глубь сцены.

Он учил, воспитывал литературную молодежь и здесь, на съезде, — воспитывал всем своим поведением. Протест Горького против приложения к нему «измерительных», как он выразился, эпитетов был для некоторых молодых очень нелишним напоминанием о скромности.

— Я такой же рядовой писатель, как и все, здесь присутствующие, — говорил Алексей Максимович съезду: — И потому эпитетов не надо, не нужны они...

Близким и понятным ему оказался народный певец Дагестана, житель лезгинского аула Сулейман Стальский. Среди делегатов Стальский выделялся своей одеждой горца-сельчанина, тонким смуглым лицом с черно-седой бородкой, внешней простотой, за которой угадывалась мудрость. В тот вечер, когда Горький говорил о скромности, Стальский вышел на край сцены и прочел или, вернее, пропел приветственные стихи. Ашуг пел их на родном языке с очень своеобразной интонацией и выразительными жестами. При фразе, означавшей: «Я пришел к вам на съезд с гор Кавказа», он прикоснулся рукой к обуви.

Закрывая съезд, Горький сказал:

— На меня, и — я знаю — не только на меня, произвел потрясающее впечатление ашуг Сулейман Стальский. Я видел, как этот старец, безграмотный, но мудрый, сидя в президиуме, шептал, создавая свои стихи, затем он, Гомер двадцатого века, изумительно прочел их...

Во время этой речи я находился недалеко от трибуны.

Густой бас Горького разносили и усиливали громкоговорители, фигура его казалась кряжистой, мощной. В эти минуты в моем сознании возник образ крепкой, старой сосны на крутом волжском откосе.

Радостно подумалось, что еще не скоро иссякнет жизненная сила Горького, что ему и «веку не будет».

Но убийцы его сына уже ткали страшную паутину злодейского заговора и вокруг самого Алексея Максимовича.

На тему: «Великие маленькие люди» я написал поэму «Сад».

Жил в Иваново садовод-опытник Ф. А. Самцов, в прошлом фабричный фельдшер. В годы гражданской войны, когда каждый свободный клочок земли вскапывался под картошку,

Самцов начал огородничать. Понемногу его маленький огород превратился в удивительный сад. В этом саду вызревал виноград, росли скороспелые томаты, баклажаны, распускались невиданные на севере цветы. Кроме того, Самцов изобрел несколько земледельческих машин.

За чертами скромного ивановского садовода мне виделся образ Человека с большой буквы, — обновителя земли и преобразователя природы.

Поэма о Самцове вышла у меня не сразу. Сначала она была просто длинной биографией в стихах. В таком виде я предложил ее, незадолго до съезда писателей, редакции нового горьковского журнала «Колхозник». В дни съезда Горький не мог прочесть ее, а после съезда прислал следующее письмо:

«Дорогой Семеновский, мы не можем напечатать в «Колхознике» 43 страницы стихов, однообразных и тяжелых, не можем потому, что уверены: наш читатель не одолеет такую массу рифмованных слов.

«Но я Вас очень прошу сделать вот что: дайте биографию Самцова и очерк его опытов в прозе, перебивая ее — там и тут — строфами Ваших стихов. Биографические сведения о Самцове Вам легко собрать, — в газетах края, наверно, был напечатан его некролог. Опыты его продолжает кто-то, кажется — проф. Шуйский. Вы написали более тысячи строк, дайте нам 200—250, разместив их между прозой.

«Этой работой Вы создадите новую форму очерка — патетический, пафосный очерк, и этим Вы положите начало новому приему изображения и, может быть, начало нового течения в литературе нашей. Это не будет романтизм «Путешествия на Гарц» Гейне, а должно быть советской героической романтикой. Вы достигнете этого, если будете писать прозу так, что она сама, свободно и естественно, перейдет в стихи. На мой взгляд Вы в силе сделать это, и, если сделаете, Вам скажут спасибо тысячи наших читателей и многие поэты, способные работать честно.

«В начале я называл стихи Ваши однообразными и тяжелыми, но когда они будут перебиты прозой, — эти качества их значительно понизятся, они выиграют от соседства с прозой.

«Убедительно прошу Вас взяться за эту работу. Впоследствии возможно будет издать всю поэму целиком.

«Было бы большой заслугой, если б мы научились писать о наших героях так хорошо, как они заслуживают этого.

«Крепко жму руку. Очень рад узнать, что Вы живы, здоровы, упрямо работаете...»

Горькому казалось, что наши очеркисты рассказывают о подвигах героев труда холодно и небрежно. Его пламенная душа возмущалась этим. Человек страстного, действенного отношения к жизни, он и от других литераторов требовал больших чувств и настоящих слов. Он мечтал о новом литературном жанре: об очерке-поэме.

Эту же мысль Горький высказал на совещании драматургов.

В образах и явлениях нашей действительности столько поэтического, что их словесное изображение требует тоже поэтических средств. Очеркист, рассказывающий о герое нашего времени, строителе новой жизни, обязательно должен быть в какой-то степени поэтом, а тем, кто пишет стихи, нет нужды искать материала для своих вдохновений слишком далеко. Этот материал рассеян всюду, где живут и действуют «Великие маленькие люди». Нужно только прочувствовать, полюбить его.

Очерк, внушенный Горьким, я писал чуть не целый год. Написанное не удовлетворяло, но пора было кончать работу, и я отослал рукопись Алексею Максимовичу, далеко не уверенный в успехе.

Ответ Горького был настоящим сюрпризом:

«Искренно поздравляю Вас, Дмитрий Николаевич, — очерк сделан весьма удачно и — я надеюсь — положит основание новой форме литературы.

«Предложу «Крестьянской газете» издать его массовым тиражом. На стихи Вы поскупились, но выбрали — хорошо.

«Теперь нужно предложить Госиздату издать всю поэму целиком, — для этого пришлите ее в Москву, мне.

«Очерк пойдет в «Колхознике», в 6-й книге...»

В предпосланном очерку маленьком вступлении Алексей Максимович еще раз повторил свою мысль о новом приеме изображения советских людей:

«Помещая очерк Дм. Семеновского о Самцове, написанный прозой и стихами, редакция журнала «Колхозник» обращает внимание читателей и очеркистов на возможность особого приема, посредством коего наши герои, наши знатные люди могут быть изображены более ярко, с большим пафосом. Наш человек плохо уместяется в прозе, особенно если эту прозу пишут небрежно или с холодной душой. Изображение нашего человека так, как он того заслуживает, должно быть повышено в тоне и красках. Дм. Семеновский пробует сделать это, но у него вся биография Самцова была написана стихами, а прозу он ввел уже в стихи. А не попробует ли молодежь наша писать о людях прозой с таким воодушевлением, с такой гордостью их работой, чтобы проза сама собою превращалась в стихи?»

*М. Горький.»*

Я не видал Горького в гробу, и он остался в моей памяти живым.

Для людей нашего поколения имя Горького, его образ связаны с весенними зорями юности, с радостью сбывшихся надежд.

Нам выпало счастье узнать его не только как бессмертного писателя, не только как сурового беспощадного борца, звавшего уничтожать врагов, но и как человека, воспоминание о котором пробуждает любовь и гордость.

Фашистские наймиты убили Горького за его преданность коммунистической партии, за дружбу с товарищем Сталиным, за пламенную любовь к советскому народу. Имена убийц история навеки заклеймит проклятием. Имя Алексея Максимовича Горького всегда будет светить передовому человечеству, как яркий путеводный огонь. Его могучее слово всегда будет звучать призывом к творчеству, к борьбе за счастье трудящихся.

## Наш город

Много блеска у майских высот,  
 Но у города больше красот;  
 Город ситца широк и богат:  
 Трубы с тучами вровень стоят.  
 Необъятны его корпуса,  
 Величавы машин голоса.

Знает песня не мало дорог, —  
 Город ситца богат и широк.  
 Как хозяин в цеха я иду,  
 Где станки мне — друзья по труду,  
 Где струится полотен река,  
 Где работа любовью крепка.

Я встречаю, как близких своих,  
 Знаменитых прядильщиц, ткачич,  
 Чьи прославленные имена  
 Повторяет с восторгом страна;  
 И торопится юность расти,  
 Чтобы об руку с ними идти.

Любо вечером, после цехов,  
 Слушать ласковый голос стихов.  
 За окном — тишина, темнота,  
 А на белом квадрате листа  
 Встали строчки, зовут и манят,  
 Полнозвучные рифмы звенят.

Снова золото дня надо мной.  
 Захватил меня город родной;  
 Я плыву в говорливой волне,  
 Сотни лиц улыбаются мне.  
 Пусть на плечи ложатся года —  
 Жизнь прекрасна, душа молода!

## Выходной

День лазурный встретить, как друга,  
Будь хозяином досуга.  
День зовет в недалний путь:  
Хорошо в зеленом парке,  
Под сосновой темной аркой,  
В полдень жаркий отдохнуть.

По тропинке кудреватой  
Выйди на берег покатый, —  
Голубая речка ждет,  
И задумчивые ивы  
Смотрят пристально в заливы,  
Наклонясь до теплых вод.

Слушай птичьи пересвисты,  
Залюбуйся небом чистым,  
Изумрудною росой,  
На полях высокой нивой —  
И довольный, и счастливый  
После вспомнишь отдых свой.

Этот день сияньем полный,  
Ветра ласковые волны  
Оживут во мне, в тебе  
Новым ростом, силой новой  
За тисками, за основой —  
В нашей радостной борьбе.

---

## Домой

Как будто ластик серебристый,  
Блестит дорога меж полей.  
Сквозь тишину, сквозь воздух чистый  
Летит автобус голосистый  
Полями родины моей.  
Здесь перелески, там долины,  
И надо всем — чудесный день.  
Плывут знакомые картины  
Родных колхозных деревень.  
Вдали темнеет дым фабричный  
Над бесконечным морем нив,  
И чутко ловит слух привычный  
Гудка затверженный мотив.

Блеснула и пропала снова  
Речушка синею волной.  
И вот, оно — мое Писцово,  
Как на ладони, предо мной.  
Еще светлей с мечтою вольной,  
Что я не тот и жизнь не та...  
На обветшалой колокольне  
Не видно глупого креста.  
А все терпели мы когда-то:  
Судьбой разбитые мечты,  
Терпели голод и заплаты,  
Врагов роскошные палаты,  
И звон церковный, и кресты,  
Казенки царские, трактиры,  
Тюрьму, нагайки, кандалы,  
Златопогонные мундиры,  
На хлев похожие квартиры.  
Гнилые темные углы.  
Ах, полно — успокойтесь звуки —  
Не все ж бывшее вспоминать...  
Едва не десять лет разлуки,  
И я на родине опять.  
Ни грусти в сердце нет, ни злости.  
Я — у заветного двора,  
И всей душой встречает гостя  
Родная, добрая сестра.

## Песня ткачей

Просторен наш корпус, как поле,  
От края до края — станки;  
Шумлив он, как волны на воле,  
Как вешние волны реки.  
Все звуки железа и стали  
В согласный сливаются хор:  
Гремят хлопотливо детали,  
Станку подпевает мотор:

Работай, бойкая рука, —  
Страна родная широка;  
Дадим как можно больше ей  
Добротной ткани, миткалей!

На юге, под зноем лучистым  
Колышется хлопок седой.

На севере льном шелковистым  
Украшен простор полевой.  
К работе пути не закрыты,  
И к славе дорога вольна.  
Не мало ткачей знаменитых  
Свободная знает страна.

Работай, бойкая рука, —  
Страна родная широка;  
Дадим как можно больше ей  
Добротной ткани, миткалей!

Покончены счета со старым,  
Грозить не посмеет нужда;  
Гордятся витрины товаром,  
Бегут по путям поезда.  
О радостях нашего роста  
Минуты поют — говорят:  
Сегодня и юный, и взрослый  
Наденут красивый наряд.

Работай, бойкая рука, —  
Страна родная широка;  
Дадим как можно больше ей  
Добротной ткани, миткалей!



Солнцем радости согрета  
В мире доля наша,  
Молодой страны Советов  
Нет на свете краше.

Широки степей просторы —  
Не окинешь взглядом.  
В небесах белеют горы  
Снеговым нарядом.

Над бескрайними морями,  
В ледяных туманах  
Развернулось наше знамя  
Ярче зорь багряных.

Города, поля, заводы,  
И леса, и реки —  
Все рабочему народу  
Отдано навеки.



В новой жизни, в новой доле  
Путь любой чудесен.  
Слышит город, слышит поле  
Звон веселых песен.

И летят они по свету,  
Огневые наши.  
Молодой страны Советов  
Нет на свете краше!

---

## Сестры

Настасья Васильевна, председатель Гриневского колхоза, возвращалась из города.

Гнедой жеребчик, первый месяц ходивший в упряжке, шел ровной сдержанной рысью.

Время от времени он снисходительно косил на хозяйку задорным взглядом, потом вольно вскидывал голову, порывался вперед, и во всей осанке его в этот миг было много молодой кичливой красоты. Дорога шла мимо пригородных огородов, скрывалась в сосновом бору, ныряла в глухой приречный дол и выходила, наконец, на простор широких полей. Ветер с присвистом носился по полям, дорога курилась поземкой, придорожные ветки боязливо трепетали.

У поворотка на село Сердечное Настасья Васильевна заметила впереди стройную женскую фигуру. Опытным придирчивым взглядом заботливой матери она окинула ее и недовольно поджала губы: женщина была в калошах, в короткой меховой куртке, малиновый берет зябко сдвинут на ухо с ветреной стороны.

«До костей прозябнет, — подумала Настасья Васильевна, — поле — это ведь не городская улица, ветер здесь вольно гуляет. Надо ее подвезти!» — решила она и, поравнявшись с девушкой, остановила лошадь.

— Далеко ли?

— В Сердечное.

— Садись — подвезу.

Девушка обрадованно поспешила к саням. Ворчливо сетуя на беззаботность молодости, Настасья Васильевна укутала ноги девушки меховой полостью, потом сняла с головы полушалок и велела повязаться.

— Ничего, ничего, — говорила она, — я сама-то не озябну, на мне еще платок да шаль остались. Чья ты будешь? Да, да, по разговору слышать, что московская. Мы здесь окаем, а у тебя слова-то вылетают как-то скорехонько. Зачем в Сердечное-то?

— Сестру разыскиваю. Сказывали, что она там... К сестре!

— Нешто давно не видались?

— Давно... Очень давно...

И девушка рассказала, что матери она не помнит. Говорили,

что она умерла после родов. За сестренкой ухаживала старая бабка, выкармливала ее сладким чаем и соской из черного хлеба. Без матери, без грудного молока девочка росла худосочной, от тяжелой пищи была очень беспокойна, плакала день и ночь. Изматывается бабушка день-деньской, — еле дожидается ночи, а ночью то же — плач, беспокойство. Какой тут сон. И в бесконечной цепи этих длинных ночей древняя бабка ослепла. Потом наступили голодные годы, и старая труженица померла от истощения. Дети тоже голодали. Отец приносил восьмушки хлеба, помидор. Он приносил их часто, и они до того надоели, что на них смотреть не хотелось. Вот помидоры помнятся хорошо. Это, значит, тогда была осень.

Однажды, отец пришел необычайно суровый, задумчивый.

— Собирайтесь, — глухо проговорил отец, — в детдом вас сведу. — И чтобы развеселить детей, добавил с напускной веселостью: — Городом пойдем. Пешком!

— Мне, голодной, еле державшейся на ногах, как сквозь полусон, послышалось: «С песком!» — «Там хлеба с песком дадут», — подумала я, а мне тогда больше всего на свете хотелось хлеба с песком, этим лакомством по ночам бредила я, и тут же собралась, заторопила отца.

Мы жили тогда на окраине и пошли в детдом через весь город. В город я еще никогда не выходила и впервые видела его. Помню тихие улицы, наглухо запертые лавки и магазины. Теперь-то я знаю, что это был тогда восемнадцатый год. Отец шел впереди, а мы тащились за ним, как две крохотные тени. В детдоме хлеба с песком не дали. Я повесила нос и потянула отца к выходу... Но через полчаса действительность превзошла все мои мечтания. Нас накормили горячим обедом, на сердце как-то сразу потеплело, и мне стало весело. «Здесь хорошо», — подумала я и решила навсегда тут остаться. Отец провел с нами целый день. Ласкал нас, глядел, кажется не мог наглядеться, и хмурил брови.

Видимо, очень больно ему было с нами расставаться. Мы не понимали его грусти, были малы, беззаботны, да к тому же здесь было хорошо.

Вечером отец расцеловал нас и собрался уходить.

— Ну, девчурки, — сказал отец, — до свиданья, на фронт еду. Вернусь домой — хорошо жить будем, замечательно будем жить. За счастьем еду, крошки... Потом обернулся к воспитательнице:

— Прошу вас, отписывайте мне, как здесь девочки Стасовы живут, и читайте им мои письма.

На другой день — об этом я узнала много позже — он уехал с отрядом Михаила Васильевича Фрунзе на фронт.

Девушка смолкла. Лошадь шла шагом. Настасья Васильевна сняла варежку и пальцем вытерла морщинку под глазом, куда заползла слеза. Потом она подобрала вожжи и прикрикнула на жеребчика:

— Нно, заслушался.

...На полях Сибири, Украины, в снегах Севера, в жарких песках Туркестана гремела война, а на тихой окраине большого текстильного города, в светлом, просторном детдоме шла тихая, безоблачная жизнь. Дни проходили ладной, размеренной походкой. Дети учились, пели, играли, в определенные часы садились за стол, ложились спать. В обширном зале носились, пока еще несмелые, неуверенные, звуки рояля.

Это учились музыке дети рабочих; они овладевали инструментом, на котором раньше играла дочка фабриканта. Девочки Алексея Стасова пристрастились к музыке и с ликованием всегда взбирались на высокий стульчик к роялю.

С фронта изредка приходили письма.

«Хочется повидать своих дочурок... Как-то они живут? — спрашивал отец. — Потрудитесь ответить. Передайте им, что войну скоро закончим, тогда свидимся и заживем мирно и ладно. Поцелуйте их за меня и скажите, что я не забываю их ни на одну минуту».

Гражданская война кончилась, задымили трубы фабрик города текстилей, ожили и зашумели корпуса, а отец не возвращался.

Однажды к детскому дому подъехали двое военных верхами. Они спешили, поднялись в дом и попросили устроить им свидание с детьми Алексея Стасова.

Воспитательница привела их в отдельную комнату и сказала: — Вот к вам гости приехали.

Они разложили перед девочками гостинцы: изюм, яблоки, колбасу, белый хлеб... Потом осторожно и скорбно рассказали, что отец убит на фронте и похоронен в далеком большом городе. Похоронен с музыкой, с почетным воинским эскортом.

— Сестренка была мала, ничего не понимала и беззаботно уплетала изюм, а я сидела, не притрагиваясь к гостинцам, и, как большая, плакала навзрыд, — вспоминала девушка.

Настасья Васильевна слушала безмолвно и чувствовала, как опять теплая слеза наполняет морщинку под глазом.

— Тут вспомнилось мне наше семейное путешествие через весь город и слова отца, сказанные на прощанье: «Вернусь, — замечательно жить будем. За счастьем еду, дочурки». И вот не вернулся, мы его никогда не увидим, жить будем одни.

Военные успокоили меня, ласково попрощались и ушли. Я подбежала к окну. Мне жалко было с ними расставаться, я в каждом из них видела в эту минуту частицу отца. Вот они поднялись в седла, вот тронули лошадей, подковы зацокали сначала редко, затем все чаще и чаще. Я прыгнула на подоконник и закричала: «Проща-йте». Голова у меня закружилась — вот-вот упаду, но меня подхватили в эту минуту и унесли в кровать. Весь день я ходила тихая и грустная...

Помню, — тогда в наш дом прибывали все новые и новые группы детей из мест, где проходила война. Нам стало тесно.

В детдоме часто появлялись незнакомые нам люди, которые присматривались к детям, подолгу уговаривали их и увозили с собой.

Моя сестренка понравилась каким-то двум деревенским старикам.

Они соблазнили ее тем, что у нее будет своя корова, овечка, курочки и петушок.

Одно только представление о них привело ее в восторг, и она с радостью согласилась ехать к ним.

Я взяла слово привезти сестренку обратно, если ей не полюбится у них.

— Ручаюсь, что полюбится, — сказал старик, — а ежели нет, закладаю лошадь и везу вобратну.

Сестренка уехала и не вернулась. После меня известили, что она привыкла и полюбила стариков, как отца и мать. Я жила в детдоме, кончила среднюю школу, потом работала на заводе, а теперь опять учусь. Весной кончаю Московский машиностроительный институт. Работать уеду далеко... Нынче перед отъездом нестерпимо захотелось разыскать сестренку... Воспользовалась каникулами и вот путешествую. Ездила в ту деревню, где она жила. Старики умерли... Катя, сказали мне, уехала года три назад на курсы животноводов и не вернулась в колхоз. Пришлось ехать в районный город. Приехала, расспросила. Там ее знают. Точно сообщили, что после курсов послали ее в Сердечное на укрепление фермы. Там она и работает.

— Все как интересно сходится, — подхватила разговор Настасья Васильевна, — ведь наш-то колхоз в соседях... Вот сейчас будет Сердечное, а в двух километрах от него и Гринево. Ведь я твою-то сестреночку хорошо знаю. Ну, как же. Катю-то Стасову да не знать. Известный она по здешним местам животновод. За год она заработала восемьсот шестьдесят трудодней. Что хлеба, картошки, денег! Это у нас самая богатая невеста во всей округе. Парни так и увиваются за ней, а она еще не идет, считает, что рано. «Выйду, говорит, за самого хорошего человека, когда полюблю до забвенья»... Да, да... А что ей?! Девушка она хорошая, умная, работница замечательная. Тот счастливый будет человек, которого полюбит она.

Приехали в Сердечное. Настасья Васильевна потянула за одну вожжу, свернула в переулок. У одного из домов остановила лошадь.

— Вот здесь она живет... Я озябла что-то, пойду с тобой погреюсь. Подожди меня, в один хлоп войдем, чтобы комнату не студить.

Настасья Васильевна привязала коня и впереди девушки поднялась на крыльцо.

Ее разбирало любопытство, хотелось видеть встречу сестер полюбоваться на них.

В теплой чистенькой комнатке сидела девушка в легком цветном платье с широкими рукавами до локтей. Вытянув ноги в бе-

лоснежных валенках из тонкой шерсти и откинувшись на спинку стула, она увлеченно и быстро вязала что-то на спицах.

— Вот мы ее и нашли, — сказала Настасья Васильевна.

— Катя, узнаешь ли меня? — срывающимся голосом взволнованно сказала сестра.

Девушка молчала, всматриваясь в приезжую.

— Не узнаешь? — с ноткой нетерпения в голосе спросила городская, порываясь к сестре, — вспомни-ка детский дом!.. Сестренка-то старшая у тебя была. Ну, вспомни же! Это я, твоя сестра Зина...

Спицы с вязаньем упали на пол. Катя поднялась и одним порывом кинулась на шею сестре. Две пышные белокурые косы тяжело качнулись и обвили стройный стан девушки.

— Зиночка... Откуда ты взялась? — отрывисто восклицала младшая, целуя Зину. — Решила навестить... Разыскала меня... Вот спасибо. Я сама тебя раздену... Озябла? Сейчас будем пить чай, — отогреешься.

— Да подожди ты! — Зина ухватила ее за плечи и держала перед собой, восторженно вглядываясь в лицо сестры: — Какая ты стала... Прелесть.

— Совсем я старая, — заговорила Настасья Васильевна, — за этот час в третий раз от чужой радости глаза взмокли. Да и не чужая это радость. Наша радость. Вот оно счастье, за которое ваш отец на фронте бился. Советская страна вас вырастила, воспитала и каждой свое счастье дала. Живите на славу.

Настасья Васильевна по-матерински расцеловала сестер на прощанье и вышла на улицу. Она уселась в пошевни, и гнедой жеребчик, почуяв теплую конюшню, стрелой помчался в Гринево.

## Песня

Сухощавый стройный человек в дорогом костюме шел широкой зеленой улицей рабочего поселка. Его тонкое, вытянутое кверху лицо было чисто выбрито, юношески свежо, и только мелкие чуть приметные морщинки под глазами выдавали его тридцатилетие. Чем дальше он шел, тем тише становился его шаг. Сдвинув мягкую серую шляпу на высокий лоб и медлительно помахивая чемоданом, человек плелся нога за ногу.

В этом поселке он родился и вырос, плакал, играл, пел, грустил и радовался, учился жить и работать. Все для него здесь было полно воспоминаний.

Он остановился и долго стоял, вглядываясь в один знакомый переулок. Сколько раз он, бывало, проходил по нему. Может быть многое исчезнет из памяти, но этот переулок не забудется никогда. Сюда он ходил встречать и провожать девушку.

Где тот хиленький и смешной домик, где она жила? Этот до-

мик с двумя маленькими покосившимися окнами был очень стар. Задней стеной он врос в землю и напоминал собой неуклюжего косоглазого зверенка, приготовившегося для прыжка.

Где та калитка, у которой он мешковато и смущенно целовал девушку?

Это была его первая любовь, его первая песня. Девушку звали Ирой. Она кончила школу фабрично-заводского ученичества и перешла в ткацкую. Он работал ткацким подмастером; она стала ткачихой в его комплекте, в его смене. Быстрая, проворная и энергичная ткачиха новой выучки, она быстро опередила других работниц. О ней заговорили, о ней стали писать. Бывало, со страниц свежей газеты иногда глянет ее лицо, и волна радости и восхищения любимой хлынет в его сердце. Вот смелые, ясные глаза, вот прядка волос, которая вчера вечером, развеваясь на ветру, касалась его щеки. И в ушах вдруг начала звучать ее веселая песенка. Она любила петь. Ира тогда только что перешла из школьного хора в рабочий, где уже несколько лет пел он, Василий Ракитин. Она быстро выдвинулась и вскоре уже запевала новые песни.

Высоким звонким голоском запевала она с таким задорным чувством молодости, что ему в это время хотелось броситься к ней и на своих руках поднять ее высоко-высоко и нести, как радостную песню. Это необузданное желание сменялось глубоким раздумьем, повышенной внутренней жизнью.

В нем, пререкаясь и споря, бродили певучие слова и звуки неслышанной музыки, звуки, то нежно зовущие, то упрямо повелительные. И он написал слова и музыку к ним. Родилась новая песня. В ней жила Ирина в работе, в любви, и фабрика шумела, и глухой переулочок дремал, и скрипела калитка. Он показал эту песню Якову Степановичу Климову, руководителю хорового коллектива, человеку талантливому и чуткому. Недели через две ее уже исполнял хор, — песня полюбилась рабочим, они на каждом концерте заставляли ее повторять и вызывали автора ее — Василия Ракитина.

Вокруг него стали поговаривать о консерватории, но он не придавал этим разговорам значения. Однажды, тихим осенним утром, почтальон справился под окном: «Не здесь ли живет Василий Дмитриевич Ракитин?» Получив утвердительный ответ, он подал письмо.

Василий Дмитриевич, возвратившись со свидания в три часа утра, еще сладко похрапывал. Старший брат приставил к его носу письмо и, посмеиваясь, отошел. Василий тут же проснулся и, прочитав письмо, спрыгнул с кровати, забегал по комнате.

Ракитина спешно вызывали в консерваторию, и в тот же день, с вечерним поездом, он уехал.

Да, все это помнится и также не забудется никогда.

Ракитин прошел переулочком туда и обратно и не нашел ни старого домика, ни покосившегося забора, ни ветхой калитки. На этом месте стоял новый четырехквартирный дом. В палисаднике

играли дети. Пожилая женщина вынесла на веранду кипящий самовар.

— Гражданка, на этом месте, где вы живете, стоял когда-то домик... — обратился к ней Ракитин и спутался.

— Ну и что же? — спросила женщина, и он подметил в ее голосе нотку испуга.

— Вы не беспокойтесь, — улыбнулся Ракитин, — я нормальный... Так вот лет семь тому назад тут стоял домик, в нем жила девушка, ее звали Ира... Ирина Семеновна Савина. Она не здесь живет?

— В этом доме нет, кажется, такой.

— Не знаете ли, куда она переехала?

— К сожалению, нет. Мы приезжие — мало здесь кого знаем.

Ракитин приподнял шляпу:

— Извините за беспокойство.

— Пожалуйста, — голосом трогательного сочувствия ответила женщина и проводила этого странного человека долгим жалостливым взглядом. Он уходил быстро, и блестящий замок чемодана горел на солнце сизым пламенем.

«Не надо было спрашивать, — говорил он себе, — ну с чего это на меня накатило? Ведь все ушло и все забыто. Все!» А сердце колотилось часто-часто и как будто бы кричало: «Не забыто, не забыто, не забыто».

Ракитин поселился в семье старшего брата. Хороший этот был брат. Рано осиротевшему Василию он заменил отца. Отравленный газами в империалистическую войну, брат умер лет пять тому назад совсем еще не старым человеком. В доме теперь жила крепкая поросль его сыновей и дочерей.

Ракитин отдыхал: читал, ходил с племянниками купаться. Вечерами на реке тесно было от лодок с гуляющей молодежью. Василий любил сидеть на берегу. Рядом сверкал огнями и шумел город, и река жизни шла от него. На лодках то тут, то там взлетали песни, и кто-нибудь из племянников говорил Василию:

— Слышишь, — твоя песня.

Через несколько дней он соскучился по роялю и пошел в клуб фабрики, где когда-то работал и пел в рабочем хоре. Климов встретил его, как сына. Восхищенно вглядываясь в гостя, он долго тряс его руку и говорил:

— Молодец ты у меня, ну и молодец. Ну-с, все твои песни у нас в репертуаре... Хорошие песни, нашим рабочим очень нравятся. Рассказывай — над чем теперь работаешь.

Он выспрашивал и сам много и охотно рассказывал. Ракитин как будто так, между прочим, спросил о Савиной.

— Скрылась давно из виду, — сказал Яков Степанович. — Где она теперь — неизвестно. — И заметив глубокое разочарование на лице Василия, поспешно добавил: — Но мы узнаем, узнаем...

Василий стал посещать все слевки, все выступления хора.



Видел, что песни его живут, входят в быт. Давно вышел положенный срок пребывания, а он все не уезжал. Не хотелось уезжать. Народ веселился, пел, и молодой композитор чувствовал, как поет вместе с ним и обогащается песенными звуками его душа. Может быть ему не хотелось уезжать и оттого, что он надеялся встретиться с Ирой Савиной. Вечно занятый, Яков Степанович забыл, видимо, исполнить свое обещание, и Ракитин стал искать нечаянной встречи с ней, верил и не верил, что увидит ее.

Он ходил по улицам, паркам и скверам и один раз заметил девушку, лицо которой живо напомнило ему незабываемые черты. Он повернулся и пошел за ней. Фигура, походка — все напоминало ее. Она! Сердце забилось часто, обрадованно. Он расправил плечи и легкой юношеской походкой опередил девушку, взгляделся через плечо в ее лицо и сразу остыл, обманутый случайным сходством.

«Она теперь должна выглядеть старше этой девушки, — мелькнула мысль. — Я ведь ничего не писал ей, не искал ее, отчего же теперь ищу и волнуюсь?» — спросил он себя.

Однажды в руках племянника он увидел газетную вырезку, и вдруг перед ним неожиданно мелькнул милый знакомый взгляд.

— Это что у тебя? — торопливо спросил он.

— Мое творение.

— А на обороте?

— Снимок.

Василий выхватил из рук племянника листок, взгляделся. Из окна вагона смотрела Ира, улыбалась кому-то и махала рукой. «Наши девушки едут на Дальний Восток» — прочитал он. «Окончившие энергетический институт...» Дальше следовали фамилии. Василий молча вернул листок и вышел на свежий воздух.

С того дня он стал собираться к отъезду. Рабочий хор устроил проводы композитору, вышедшему из его рядов. На этом вечере Ракитин сказал руководителю:

— Яков Степанович, вы забыли исполнить одно свое обещание, но не огорчайтесь, это дело поправимое. Пусть хор споет одну мою песню... Вы меня понимаете?

Яков Степанович выразительно посмотрел на него и после многозначительного молчания ответил:

— Я понимаю.

Ракитин слушал свою первую песню и, как живую, видел перед собой Иру, как бы вновь переживал свою юность, любовь, свои первые творческие порывы.

После к нему подошел Яков Степанович, справился о настроении.

— Ну, как?

— Спасибо. Вот я с ней и повидался, — с трогательной улыбкой ответил Ракитин.

Весь конец вечера композитор был тих и задумчив. Он часто подходил к фортепьяно, играл что-то сильное и незнакомое. В нем

слагалась песня о девушке с полетом орлицы. Она учится, работает, любит и вдохновляет.

Вечер кончился. Ракитин ушел вместе со всеми, но с подъезда вернулся к роялю и здесь просидел до позднего утра. Работалось в полную силу, творческий замысел ширился, прояснялся, но близкий дорогой образ девушки бледнел, уходил в недостижимую даль, его вытесняло что-то более сильное, могучее, то, что взрастило и эту девушку и самого композитора. Это была сама жизнь, наша чудесная действительность. Она крылато поднялась в музыке Ракитина и державно заняла главное место.

## Счастье старой матери

Варвара Степановна Азарьева выдавала замуж третью дочь — Веру. Дело это тянулось от самой осени и как-то необычно усложнилось. Приходил председатель колхоза и посоветовал Варваре Степановне не отдавать дочь в Закошанское, оставить при себе, принять зятя в дом. Варвара Степановна приняла это к сердцу, тем более, что она уже не раз слышала нечто подобное и от колхозников. Вера была активной общественницей в Жирковском колхозе, руководила лучшим звеном высокой урожайности и пользовалась большим уважением.

— Парень за такой девушкой на край света пойдет, — сказал председатель, — вы только скажите ему это и стойте на своем — согласится. Не хочется ее отпускать из колхоза, дельный и нужный она, Варвара Степановна, у нас человек-то... А у тебя дом свободный, скоро все дочери разойдутся — одна останешься.

Варвара Степановна согласилась с ним. Пустел ее дом. Четвертая дочь учится в педагогическом институте, — ее будущее уже определилось, Вера вот-вот уйдет в Закошанское, и останется она только с Тамарой, пятой дочерью-подростком. И больше нет. И не будет. Жалко, что мало сберегла дочерей. Было их восемь, но три умерли в раннем детстве.

Только дочерей рожала Варвара, что было в прежнее время семейным бедствием. Муж, Семен Ермолаич, прямо за голову хватался и говорил в отчаянии:

— Ну, что ты мне все девок... Ведь кормить, поить надо, а на них ни земли... ничего... Свалюсь я, за плуг вместо меня некому встать...

Семья прибывала, и вместе с прибылью семьи бедность крепче насаждала на Азарьевых. Семена Ермолаича страшило будущее своей семьи; он не видел выхода из нищеты, рано надорвался в борьбе с ней, занемог и умер. Старшие дочери пошли батрачить. Бесприданницы, дочери вдовы-беднячки, они в то время даже не считались в деревне невестами, и Варвара старалась

свыкнуться с мыслью, что ее дочери останутся вековухами. С малолетними дочерьми она кое-как мыкалась в своем безлошадном хозяйстве.

Соседи только насмехались над мытарствами вдовы и обижали ее. Дело в том, что ее полоски обрабатывались после всех или совсем не обрабатывались. Пользуясь этим, соседи во время пахоты отваливали на свой загон от полосок вдовы пласт, другой...

В конце концов полоски Варвары Степановны стали змеистыми ленточками земли, на которых пышно цвели сорняки. Пахать их совсем не было смысла — Варвару Степановну вытеснили с полей.

Она враждовала из-за этого с соседями и ходила в город жаловаться на своих обидчиков. Ее сочувственно выслушивали, писали бумажки и один раз обещали даже выслать комиссию.

Варвара долго ждала ее приезда, но комиссия задержалась, не выехала.

К этому времени полоски вдовы были уже превращены в полевые тропки.

Варвара Степановна любила землю, хотела возделывать ее и не могла смириться со своеволием соседей. Она вновь принялась за хлопоты, но тут ей один умный человек объяснил, что дело это не стоит хлопот и тяжбам такого рода на веки вечные конец приходит. Пора, дескать, жить другой жизнью, хозяйствовать сообща, работать коллективом. В стране поднялась волна великого колхозного движения, поля будут единым массивом, исчезнут полоски, межи, соседская вражда.

Это глубоко запало в душу Варвары Степановны. Она ходила в колхоз за пятнадцать километров перенимать новые порядки жизни и по возвращении прекратила всякие пререкания по поводу своих полосок. Соседи теперь часто видели ее мирно беседующей с женщинами на улице, у колодцев. Потом она, забыв старые неприятности, ходила из дома в дом, рассказывала, убеждала в превосходстве коллективного хозяйства над единоличным.

В Жиркове колхоз был организован, Варвара ощутила в себе необыкновенный подъем, поспевала везде и всюду, работала, не чувствуя утомления. Дочери ее вернулись домой и тоже стали работать в колхозе. Жизнь стала веселой, живой, полной новых чувств, желаний и стремлений. Девушки работали с завидным рвением, — они теперь трудились на себя. Дочери уезжали и приезжали, мать провожала и встречала их. Они проходили курсы, бывали на съездах и слетах.

В избе Азарьевых теперь часто слышались песни, звенел искристый девичий смех, и сама Варвара Степановна, радуясь на своих дочерей, любясь расцветом их, смеялась и пела вместе с ними. Девушки Азарьевы зарабатывали в колхозе вровень с мужчинами, обзавелись одеждой, мебелью. Но основным их приданым была великая, искренняя любовь к коллективному

труду, и девушки Азарьевы стали известными работницами, приметными невестами.

Иногда летней ночью чуткая на ухо Варвара Степановна проснется и услышит за стеной нежный любовный разговор. Посмотрит, — которой-нибудь из дочерей дома нет. Ах, молодость!

Все это было в недавние годы, и вот уже теперь две дочери замужем, третья на выданье. Как с ней быть? Лучше, если бы она осталась дома. Мать передавала ей совет председателя и тонко намекала, что и сама согласна с ним. Вера склонялась к этому, но жених, видимо, не соглашался.

Вера тянула время, закошанские поторапливали ее. Они заезжали по пути в дом Варвары Азарьевой то погреться, то передать подарок от жениха и при этом на все лады расхваливали его. Василий Потехин у нас-де лучший парень. Он и счетовод, он и машинист. Летом в горячую пору он успеваешь и счетоводство вести и на машинах работать. На лобогрейке нынче он по две нормы выполнял. А счетовод — первый в здешних колхозах. Лучше всех в Закошанском колхозе счетоводство поставлено. Его в другие колхозы райземотдел посылает счетное дело налаживать. Да надо быть и вашему счетоводу нынче по весне он помогал. Намек был тонкий и бил прямо в цель. Потехин пробыв весной в Жиркове три дня и как раз тогда познакомился с Верой.

Варвару Степановну сначала беспокоила мысль — уйдет Вера или нет, но потом она решила не вмешиваться, — пусть дочь решает сама, ей виднее. Да и некогда было Варваре Степановне: она организовала при колхозном клубе хор, усиленно занималась с ним; домашние заботы как-то померкли.

Вера уступила и в конце зимы заявила матери, что любит Потехина и уходит в Закошанское.

— Ну, что ж, — сказала мать, — раз решила, так, значит, тому и быть.

Приданое Веры повезли на трех подводах. Тут была мебель, сундуки с одеждой, премии — велосипед и швейная машина.

Варвара Степановна посмотрела на это добро, отправляемое в Закошанское, и неожиданно удивилась: «Когда мы столько нажили?».

И тут же вспомнила, что и старшие дочери увезли с собой не меньше, и сказала себе: «Ведь восьмой год мы живем в колхозе. Сколько всего заработано за эти годы, сколько радостных дней пережито, а сколько счастья впереди»...

Провожая долгим взглядом подводы, уходящие в Закошанское, Варвара Степановна думала о том, что колхозный строй дал ее дочерям в приданое огромные поля, фермы, машины, любовь к труду, радость жизни, уверенность в будущем.

Варвара Степановна зашла к председателю колхоза и пригласила его на свадьбу, но он принял ее приглашение суховато и ребром ладони провел около подбородка:

— Вот как некогда.

— Раз некогда, значит много делов, — неопределенно сказала Варвара Степановна.

«Обиделся, что дома Веру не удержала, — уходя, думала она: — как я удержу... В этом — ее воля».

Обида председателя не расстроила ее, а напротив — обрадовала. Вот у нее какая дочь! Здесь ее удерживают как прекрасную работницу и там встречают как желанного человека!

На свадьбе много было закошанских, родственников жениха, и жирковских, родственников невесты.

Закошанские вели себя весело и оживленно: они праздновали победу — Василий поставил на своем, — в их колхоз пришла новая сила — активная общественница, мастер больших урожаев. Жирковские сидели тихо и скромно, изредка перебрасываясь незначительными замечаниями. Закошанские вскоре расшевелили их, разговор постепенно стал общим, оживление охватило всех. Заговорили о весне. Закошанский колхоз, как выяснилось, в подготовке к севу отставал. Жирковские осуждающе покачали головами.

Вере это не понравится, но ничего: она вот оглядится и встряхнет кой-кого, — дела тогда пойдут живее.

Кто-то из стариков запел старинную свадебную песню о том, как «бил сокол пташечку сизокрылую», но песню подхватили вяло, и она скоро оборвалась. Иносказание о соколе и пташечке рисовало отношения молодых супругов далекого прошлого, содержание песни не совпадало с действительностью, песня не зажгла ни одно сердце и замерла.

— Бил когда-то, да кончил, больше не побьет, — сказала пожилая гостья из Жиркова, — наши соколы забыли, как у них руки на нас поднимаются. Теперь наши пташечки сизокрылые соколов не страшатся.

Женщины весело и довольно заулыбались.

— Вам теперь хорошо и нам приятно, — сказал отец жениха: — и раньше-то ведь не мы, а нужда, нищета да темные головы наши зло свое кулаками разматывали. Теперь нужды нет, головы наши просветлели и о побоях забыли, жизнь-то идет ладная, хорошая... Вот тут среди нас есть дорогая гостьюшка, — хозяин многозначительно глянул в сторону Варвары Степановны, — она — руководитель хора, запоет нам песню, которая бы в обнимку шла с нашей радостью. Ну-ка, Варвара Степановна, ударь по нотам...

Она стала было отнекиваться, говорила, что ей не положено здесь запевать, но ее оглушили десятки упрашивающих голосов, и она согласилась.

Сильным, как будто с молодости береженным голосом Варвара Степановна запела новую песню о бушующих урожаях колхозных полей, о прекрасном лице любимой родины, о счастливой нашей женщине, матери доблестных героев советской страны. Женщины вели эту песню гордо и величаво, и она разливалась вольно и широко, как сама радость колхозных деревень.

На другой день в десятом часу утра Варвара Степановна вернулась в Жирково. В доме было тихо и пусто. Веры нет — она уже закошанская жительница; младшая дочка в школе. Непривычная тишина ошеломила ее, и она вздрогнула от минутного ощущения одиночества, но тут же вспомнила, что ее ждут дорогие сердцу заботы, родной колхоз, которому так приятно отдавать все свои физические и душевные силы.

На стене висели фотографии всех дочерей, зятей, внучат, и среди них ютился давний маленький снимок с покойного мужа. Варвара Степановна любовно оглядела всех и надолго остановила свой взгляд на маленькой выцветшей карточке.

— Так вот, Семен Ермолаич, — мысленно заговорила она, — как мы живем-поживаем... А ты еще все говорил: «Куда ты мне все дочерей»... Вот они все свое счастье нашли... Выходит так, что сын, что дочь — одинаково хорошо.

В приливе жизнерадостности Варвара Степановна прошла по избе и вдруг с воодушевлением затянула ту песню, которую с большим успехом запевала вчера.

Дм. Семеновский

## Мать

Узкой стала ситцевая блузка,  
Желтизна легла у губ, а все ж  
Облик твой прекрасен, ибо миру  
Будущее ты в себе несешь.

И когда походкой осторожной  
Ты идешь куда-нибудь,  
Маленькой беременной ткачихе  
Каждый встречный уступает путь.

Вечер. Лампа с белым абажуром.  
Ты склонилась над шитьем.  
Теплые покоятся отсветы  
На проборе, на лице твоём.

Молча шьешь — и все одно и то же,  
Все одно и то же на уме:  
— Кто-то он, живущий возле сердца  
В бережливой тьме?

Матери Колумба, Пушкина и Маркса,  
Верно, про себя шептали то ж:  
— Кто-то он, живущий возле сердца?  
На кого похож?

Может быть, и ты родишь поэта  
Иль народного любимого вождя.  
Ветром по устам твое провеет имя,  
Благодарность и восторг будя.

Или дочка у тебя родится  
С быстрыми глазами, как и ты, —  
Гордая прапраматерь сильных и счастливых,  
Образ красоты.

И огромный день, когда в родильном доме  
Напрягалась ты всем телом, как струна, —

Праздничными флагами отметит  
Вся твоя великая страна.

Гений и здоровье, доброта и смелость,  
Пылкий нрав и тонкий дым кудрей —  
Все, чем светит юность, чем богата зрелость,  
Чем красива старость, — все от матерей.

Все идет от женщины родящей.  
И когда рожденья наступает час,  
Смерть пред жизнью, новое творящей,  
Умирает каждый раз!

## Урожай

Пора листопада, пора звездопада.  
Последние бусы теряет рябина.  
Плодами высокого синего сада  
Срываются звезды за гребень овина.

Из хвои рассыпанной выскочил рыжик,  
Глядит на тропинку: как тихо, как пусто!  
И гряды пустуют. Ледком кочерыжек  
Хрустят ребятишки: — Как сахар — капуста...

От свежего хлеба в избе духовито,  
Копной на поляне — коврига на блюде.  
И льется на мельнице новое жито,  
И новою радостью светятся люди.

А дни — все короче, а ночи — все глуше,  
И скоро земля забелеет порошей.  
У деда — газета, а внучке Феклуше  
Гореть-разгораться над книжкой хорошей.

О, зимний покой! В созревании сада  
Всю силу свою истощила природа.  
Пора звездопада, пора снегопада  
Замкнула кольцо пережитого года.



В. Полторацкий

## Приближение весны

Подставь лицо под теплую струю  
Весенних ветров ласковых и милых,  
Прислушайся, как ручейки поют,  
Вглядись, как зори над землей встают,  
И наливаются живой и буйной силой  
Поля и реки,

рощи и сады.

О, страдная, горячая пора,  
Когда решаются успехи боя!..  
По утреннему стуку топора,  
По мастерской, где ладят трактора, —  
Угадываем небо голубое  
И жирный запах

первой борозды.

Здесь дорог час и важен каждый шаг,  
Великое открыто наступленье.  
Идет весна! Навстречу ей спешат,  
Исполненные радостного рвенья,  
Упрямые стахановские звенья,  
Колхозные бригады мастеров.  
Победы достаются нелегко,  
Но научились тысячи героев  
Гореть соревнованием, — таков  
Незыблемый закон большевиков,  
Закон победы Сталинского строя,  
Закон борьбы

за лучший из миров!

Там, где столетья чахлый колос рос,  
Где плесенью цвело людское горе, —  
Над серебром весенних чистых рос  
Заботливо взрастит колхоз  
Посевов тучных золотое море,  
Где каждый колос

полон и богат!

Да, каждый колос полон и богат...  
Весенний ветер, ласковый и милый,  
Встречает бригадир. И тракторы гудят.

Готовы к бою армии бригад,  
Могучие живой, творящей силой.  
Идут весны  
бушующие дни!

---

## Август

Август. Яблоками и медом  
Пахнет тихий вечерний час,  
Где-то в поле, за огородом,  
Золотистый закат угас.

Ты откроешь калитку сада,  
Выйдешь к берегу на откос, —  
Ветер ласковую прохладу  
Из-за Волги тебе принес.

Ты спросила бы этот ветер,  
Где бродил он, в каком краю,  
Чью любовь или радость встретил,  
Где он ласку нашел свою?

Все равно ничего не скажет,  
Засмеется и убежит...  
Две березки стоят на страже,  
Две тропиночки вдоль межи.

Здесь встречались и расставались,  
Не сводили друг с друга глаз...  
Здесь в последний раз целовались  
Прошлой осенью. А сейчас —

На откосе стоишь подолгу,  
Ловишь трепетный ветерок  
И глядишь в синеву, за Волгу,  
Далеко глядишь на Восток.

Если б крылья тебе, как птице, —  
С крута берега взяв разлет,  
Полетела бы на границу,  
Где твой сокол сейчас живет.

Может быть он сейчас в дозоре  
Охраняет страны покой,  
Чтобы ярче вставали зори  
Над широкой твоей рекой.

Чтобы в августе скирды хлеба  
Поднимались во весь свой рост,  
Чтоб спокойно синело небо  
В золотом урожае звезд.

Чтобы яблоками и медом  
Август встретил нас у ворот,  
Чтобы радостней год от года  
Жил в советской стране народ.

Вот какой он, твой сокол ясный,  
С Красным орденом на груди.  
Вспоминай его ежечасно,  
В сентябре на побывку жди.

Расскажи, как ждала, как любишь,  
Как любовь берегла свою...  
Пусть антоновкой пахнут губы,  
И два сердца в одно поют.

## Мужество

*Действующие лица:*

Горносталев Федор — слесарь.

Аня — его жена.

Евдокимов Петр — товарищ Горносталева.

Крылов — директор завода.

Нина — подруга Ани.

Комната. Входит Аня в рабочем костюме.

Аня. Добрый вечер, Федя. Что же ты молчишь? Федя! Нет его, не приходил. Ну, хорошо, это к лучшему (смотрит на часы). О-о-о, долгонько работает (уходит в кухню, поет).

Федор (входит с газетами). Эй, кто там нарушает тишину?!

Аня (появляясь). Федька!

Федор. Ну, здравствуй, чумазая. Что это ты там?

Аня. Обед готовила.

Федор. Недаром усы подвела, что у Чапаева...

Аня. Разве? (подбегает к зеркалу). Правда.

Федор. А к тебе идет.

Аня. Все смешки. Шел бы да сам повозился с кастрюлями.

Федор (обнимает Аню). Не шипи, злючка. Обед вкусный?

Аня. Как всегда.

Федор. Есть хочу, медведя бы слопал.

Аня. Если бы да кабы, так выросли бы грибы, а ты довольствуйся ягодками.

Федор. Ух, ты! (хочет обнять Аню).

Аня. Руки коротки. (убегает).

Федор. Славный друг. Только вот, что мне делать с ней, а? Надо бы учиться обоим, а посылают пока одного. Как же быть? Рассказать — обидится. Загвоздка. И скрывать нельзя.

Аня (входит с миской в руках). Готово. Садись, пока не остыло. А ну, довольно тебе рыться в газетах (стучит ложкой). Кушай!

Федор (смотрит в газеты). Ты, между прочим, видела?  
Сегодня информация на первой странице.

Аня. Ты перестанешь, нет? (вырывает газету). Садись!

Федор. Слушаюсь, товарищ капитан.

Аня. Давно бы так (смотрит в газету).

Федор. Э-то что? А ты почему?

Аня. Кушай, кушай, я сейчас.

Федор. Я те дам сейчас (отбирает газету и прячет).

Аня. А как с учебой?

Федор (выходя из-за стола). Говорил.

Аня. И что же?

Федор. Меня командируют в Промакадемию.

Аня. Ну?

Федор. Выходит, надо ехать.

Аня. А я?

Федор. Обоим сразу уезжать нельзя. Надо сначала подготовить смену. Ты бригадир. Оголять участок невозможно, понимаешь?

Аня. И что же ты надумал?

Федор. На время останешься здесь, а потом...

Аня. Пустяки. Едем вместе. Подумаешь, какая персона, незаменимый бригадир. Незаменимых нет. Второе кушать будешь?

Федор. Нет! Может чаю согреешь? (Аня уходит.) А все же отпустят ли, сомнительно. Хорошо бы вдвоем. Но едва ли... Народ нужен заводу. Каждый человек на счету. Разве Крылов отпустит?

Аня (появляясь). Ты еще все ходишь? Довольно, присядь. Куда сегодня собираешься пойти?

Федор. Сегодня, Аня, свободен, можем отправиться хоть на край света.

Аня. Значит, пойдем к Серову. Ты не возражаешь?

Федор. Ровно полгода собираюсь к нему и никак не могу выбрать время, безобразие! Он — что? Заходил сюда?

Аня. Нет. На заводе встретились. Ругает тебя на чем свет стоит.

Федор. За что же?

Аня. Почему, говорит, я хожу к вам в гости, а почему вы не можете прийти... Если еще раз обманете, — дружба врозь.

Федор. Он все такой же шутник, этот мастер шлифовальной группы?

Аня. Все такой же... замечательный.

Федор (шутя). Ты смотри у меня... Замечательный! Ну, будем собираться?

Аня. А ты как думаешь? Иди переодевайся, да побриться не забудь.

Федор. Рад стараться, товарищ капитан! (Убегает.)

Аня (убирает со стола. Стук в дверь). Можно.

Евдокимов (входит). Товарищ Горносталев здесь?

Аня. Здесь, товарищ... Евдокимов.

Евдокимов. Вот тебе и раз! Аня, ты? Ну, здравствуй, Аня. Здравствуй!

Аня. Петр, как ты потолстел, порозовел. Петька, какой ты стал солидный.

Евдокимов. Отдыхал на юге.

Аня. Да — ну? Ты раздевайся... чего стоишь?

Евдокимов. Сразу уж и раздеваться, не дадут осмотреться. А ты тоже изменилась.

Аня. К худшему?

Евдокимов. К лучшему.

Аня. Приятно слушать. Значит, живем, Петр, а?

Евдокимов. Живем! А то как же... Конечно... (Увидев фотокарточку на стене.) Это что значит?

Аня. Портрет, обыкновенный портрет, разве не видишь: я и Федор.

Евдокимов. Видеть-то я вижу, но что все это значит?

Аня. Ну-ну, не хмурь брови.

Евдокимов. Подло так поступать.

Аня. Не расходишь. Расскажи, каким образом доехал? Давай чемодан, поставим сюда. Кушать хочешь?

Евдокимов. Нет. Категорически не хочу! Ты мне скажи: так-то встречают друзей? Где Федька? Я его изобью. Ах, он высокий дядя!

Аня. Сядь, не кипятись!

Евдокимов. Я-то ехал, мечтал... встречусь... и давно?

Аня. Только что.

Евдокимов. Счастлива?

Аня. А ты как думаешь?

Евдокимов. Никак! Рада, по глазам вижу — рада..

Аня. Да сядь ты.

Евдокимов. Нет, каковы? Хороши. Очень хороши. Даже на свадьбу не пригласили.

Аня. Думали.

Евдокимов. Вы только думали. Жалко Федьки нет. Я б ему наvertsел.

Аня. Сейчас явится, попробуй с ним поговорить.

Евдокимов. Не поговорить, а побить. Ах он олух царя небесного, так-то он товарищей уважает! Тихонько, скромненько и на-тебе...

Аня. Да будет. Иди умойся. В дороге пыли, поди, страшно много.

Евдокимов. Спасибо, я уже на вокзале освежился.

Аня. Так чем же тебя угостить?..

Евдокимов (поет). «Ничего мне на свете не надо, только видеть тебя, милый мой». Давно не виделись.

Аня. Очень хорошо, что заглянул. Завтра на работу?

Евдокимов. Да, наконец-то, соскучал. А завод не узнать. Новые корпуса. Сквер разбит. Дворец культуры вырос, точно

из-под земли. Замечательно. Ну, что же, рассказывай, как живешь.

А н я. Всех лучше.

Е в д о к и м о в. Ну, это положим. Всех лучше я живу.

Ф е д о р (входит). О, милая пара, два сизых голубя воркуют любезно (заглядывая со стороны на Евдокимова). Э-э-э, да кажется знакомая личность. Постой же, пропишу тебе ижицу (тихо пробирается к Евдокимову, хватает его). Так-то навещаешь приятелей!

Е в д о к и м о в. Федор!

Ф е д о р. Петр! (обнимаются). Здравствуй, дорогой, откуда ты?

Е в д о к и м о в. Только что с поезда. Ну, как дела у нас, на заводе?

Ф е д о р. Идут, замечательно, брат, идут (указывает на Аню). Видишь?

Е в д о к и м о в. Чувствую.

Ф е д о р. А ты, брат, галок просчитал.

Е в д о к и м о в. Чувствую — опередил. Что же, и на моей улице когда-нибудь будет праздник.

Ф е д о р. Думаю, — свет не клином сошелся.

А н я. Не забудь пригласить: придем...

Е в д о к и м о в. Нет уж извините, долг платежом красен.

Ф е д о р. Тронуло?

Е в д о к и м о в. Очень. Весело живете?

А н я. Скучать не приходится, некогда.

Ф е д о р. Живем, дружище, живем. А все же соловья басням не кормят. Аня, что бы такое сообразить ради гостя.

А н я. Не знаю. Я его угощала обедом, — не хочет.

Ф е д о р. Да разве обедом угощают таких здоровых людей.

А н я. Чем же? Я что-то недогадливой стала.

Ф е д о р. Ну-ну, не хитри. Ну, что же это ты?.. Скатерть на стол. Да поскорей. Где она? (Хочет бежать в комнату, Аня останавливает его.)

А н я. Постой! Все там перепутаешь. (На ухо.) Чего брать?

Ф е д о р (тихо). Парочку.

А н я. А как же к Серову?

Ф е д о р. Да. Совсем было из головы вон...

А н я. Не ходить нельзя.

Ф е д о р. И уходить нехорошо... получится, знаешь — по-свински. Может его захватить с собой?

А н я. Неудобно.

Ф е д о р. А чего неудобного?.. (Евдокимову). Ты Серовых знаешь?

Е в д о к и м о в. Каких Серовых?

А н я. Федор!

Ф е д о р. Ты обожди, ты не мешай мне (Евдокимову), наших замечательных людей знаешь? Нет? Образцового мастера шлифовальной группы знаешь?

Евдокимов. Ну, как же не знать, конечно, знаю.

Федор. Вот и отлично. (Звонок телефона, Аня снимает трубку.) Скажи, что дома нет.

Аня. Да, слушаю... Я. Федора?... Он..:

Федор. Я на заводе, на заседании завкома.

Аня (закрыв ладонью трубку). Серов.

Федор (подходит к телефону). Серов? Сейчас мы устроим...

Евдокимов. Вы идите, а я останусь здесь. Мне неудобно.

Федор. Молчать! Это я не вам. Простите. Что? Долго собираемся? Тут у нас один человек еще, выходит трое, понимаете... Что вы говорите, — тащить его? Едем! (Вешает трубку.) Петр!..

Евдокимов. Нет.

Федор. А мы тебя и спрашивать не станем. Аня, готовься.

Аня. А как же Петр?

Федор. Петра за шиворот и в сани.

Аня. Идет (убегает).

Федор. Покажем хозяину, чем живет наша страна. Вот тебе твоя кепка, надень.

Аня (входит в другом платье). Вот я и готова.

Федор. Отлично. Значит пошли. (Подхватил под руку Аню и Петра. В дверь вбегают Крылов.)

Крылов. Простите. Я вас не задержу. Собрались гулять? Извините. Горносталев, ты мне очень нужен.

Федор (подходит к Крылову). Слушаю, товарищ директор.

Крылов. А, Аня... Здравствуйте. Вы меня не обессудьте. Я на одну секунду...

Федор. Вы встревожены?

Крылов. Пустяки. Очень торопился. Лестница крута, запыхался.

Аня (подает стул). Присядьте.

Крылов. Я только на секунду (садится). Спасибо. Нет ли чайку, я очень вас прошу чайку, если можно, Аня...

Аня. Пожалуйста. Вам горячего?

Крылов. Да, да... очень.

Евдокимов (Федору). Он что-то беспокоен.

Федор. Да, просто встревожен не бывает.

Аня. Вам крепкого заварить?

Крылов. Что?

Аня. Чаю, говорю, крепкого заварить?

Крылов. Да, покрепче, покрепче, если можно.

Аня. Хорошо (уходит).

Федор. Что с вами, товарищ директор?

Крылов (встает). Ушла. Это прекрасно. Федор, торопись. Завод в опасности. Выручай, Горносталев!

Федор. В чем дело?

Евдокимов. Несчастье?

Крылов. Именно. Большое несчастье. Одевайся, Федор. Слышишь, тишина... (Все прислушиваются.)



Федор. Что это значит?

Крылов. Моторы мертвы. Нет подачи горючего, на испытательной станции бензола нет...

Евдокимов. Завод прекратил работу?

Крылов. ...Почему — нам неизвестно. Что-то такое в бензолохранилище неладно. (Федору) Может... ты представляешь себе?..

Федор (молча подходит к окну). Вы уверены, что авария. Вы не думаете — вредительства нет?

Крылов. Пока не знаю. Сейчас надо спускаться вниз под землю со всеми инструментами и немедленно вводить в строй испытательную станцию. Да, сейчас, сию минуту! Вам понятно, товарищ Горносталев, что я хочу сказать?

Федор (задумчиво). Может просочиться газ... более того, может произойти взрыв.

Крылов. Именно, чего я больше всего опасюсь. Его надо предотвратить.

Евдокимов. Чего же ты медлишь, Федор? — пока раздумываешь — вернется Аня. Тогда уже поздно будет говорить о деле.

Федор. Было бы глупо стремглав бросаться опасности в лапы. На Кемеровском руднике троцкистско-зиновьевские гады физически уничтожали лучших людей страны, душили газом. Не исключена возможность, что и у нас...

Крылов. Именно, Федор. Но поздно заверять партию в преданности, когда завод будет разрушен, когда сотни людей, быть может, перестанут жить и трудиться... Я нарочно отослал Аню. Явится она, начнутся слезы, истерика.

Евдокимов. Не тяни же, Федор, пойми! (Входит Аня со стаканом чаю. Неловкая тишина.)

Аня. Почему вы молчите? Я слышала — вы говорили что-то...

Крылов. Так, мы шутили. Видите ли, вашего мужа вызывают в партком.

Аня. Что это за срочные дела? Точно пожар. Выдумываете.

Федор (твердо). Меня вызывают на завод.

Аня. Зачем?

Федор. В бензолохранилище произошла авария.

Аня. Что?! (Федор надевает кепку, идет в соседнюю комнату. Аня, загородив дверь.) Куда?!

Федор. Мне надо отпраиваться (подходит к Ане, кладет руку на голову, говорит мягко, ласково). Чудачка, не надо глупить. Конечно, опасность есть... Иду не малину собирать... Иду выполнять ответственное поручение завода, а это значит — нашей партии, нашего народа. Нельзя, милая, считаться только со своими чувствами. Понимаю, тебе трудно. Мы готовились отпраздновать приезд друга, а тут... (обнимает Аню). Не следует, дорогая, расстраиваться (целует). Подай противогаз.

Аня (обращается к директору). Крылов, это очень серьезно? Заводу что-нибудь грозит?

Крылов. Да, очень. Грозит катастрофа, если мы не примем срочные меры.

Аня (Федору). Ты можешь не вернуться?

Федор. Вернусь. Будь уверена.

Аня. Хорошо (убегает в комнату).

Евдокимов (Федору). Вот видишь?

Крылов. Идем, Горносталев.

Федор. Пошли. Ты, Петр, успокой жену. Не отпускай ее туда, на место аварии... Скажи, что скоро вернусь.

Евдокимов. Я с вами. Я не могу оставаться здесь.

Федор. Петр! Будь благоразумен — не устраивай паники (собирается уходить).

Аня (вбегает с противогазом в руках и в легком пальто). Федор, обожди! На, возьми (передает Федору противогаз).

Федор. Спасибо, жена.

Крылов (Ане). Вы куда собрались?

Аня. Туда же, куда и вы.

Крылов. Нехорошо. Никчему. Лишний народ, лишняя суета — во вред.

Федор. Петр один остается. Он нездоров... Побудь с ним и только, пожалуйста, не волнуйся.

Аня. Правда, Петр?

Евдокимов. Да, что-то нездоровится. Не иначе, как сердце сдает. С дороги, повидимому, утомился.

Аня. Тогда... Спешит Федор. Я буду спокойна.

Федор. Так-то. Не падай духом. Бодрись, Аня!

Аня. Приподними ворот (поднимает ворот пиджака у Федора). Вот так... На улице ветрено.

Федор. Не скучай.

Аня. Постараюсь.

Федор. Ну, Петр!

Евдокимов. Товарищ! (Бросается к Федору, обнимает его.) Иди.

Федор. Побудь здесь. Смотри ты у меня, не давай скучать жене.

Евдокимов. Будь спокоен.

Федор. Идем, Крылов (подходит к Ане, целует ее). Не морщи лоб, Аня, веселее гляди, ну! Крылов, пошли жену в Пром-академию учиться, хороший хозяйственник будет.

Аня. Не шути.

Крылов. Обязательно пошлем.

Федор. Слышала? (Шепчет) Не унывай. (Уходят.)

Аня. Вот и ушли... (Подходит к окну, опускается в кресло.)

Евдокимов. Да.

Аня. Какая жуткая тишина. Ты слышишь? Все спит.

Евдокимов. Да.

Аня. Этак с ума сойдешь. Включим хоть радио (Евдокимов включает радио. Играет скрипка).

Евдокимов. Напрасно остались здесь.

Аня. Куда же деться?

Евдокимов. Идемте к Серову.

Аня. Нет. Не могу.

Евдокимов. Что же... будем ждать. (Задумался, прислушиваясь к музыке.)

Аня. Петр, о чем мечтаешь?

Евдокимов. Разве?.. Да, вспоминаю.

Аня. А ты говори свои мысли вслух, легче будет.

Евдокимов. Вспоминаю, как отец три месяца лежал на жестком топчане, уставившись помутневшими глазами в грязный, закоптелый потолок. Умер он, оставив меня малышом...

Аня. У Федора тоже тяжелое детство.

Евдокимов. Помните гражданскую войну?

Аня. Я в то время совсем маленькой была. Не помню.

Евдокимов. Отец Федора работал кочегаром... Говорят, пароход был захвачен белыми. Была, говорят, тихая ночь, пароход подвели к пристани. Горели огни, гудели провода, и вот в это самое время Егор Ильич — отец Федора — спустился в кочегарку, нагнал пару доотказа... погиб сам и потопил судно с белыми бандами.

Аня. Сын в отца...

Евдокимов. Похож.

Аня. Петр... (встает). Ты представляешь, на что он решился?

Евдокимов. Вполне.

Аня. И так спокойно говоришь?

Евдокимов. Не совсем.

Аня. Ты не обращай внимания, я не дело говорю. Ты Федора любишь?

Евдокимов. К чему, Аня, спрашивать?

Аня. Видишь, какая чушь лезет в башку. А музыка тебе нравится?

Евдокимов. Тяжело, Аня.

Аня. Что ты отвернулся? Может выключить радио? (Подходит к окну). Огни уже гаснут... Ночь... Тебе нравится морозный вечер?

Евдокимов. Нравится, очень.

Аня. Федору тоже. Он любит зиму, сухой снег. Он хороший конькобежец.

Евдокимов. Отличный.

Аня. Что мы стоим? Давай хоть чаю выпьем?

Евдокимов. Пожалуй...

Аня. Я сейчас, ты посиди... (Звонок, Аня подбегает к телефону, Евдокимов выключает радио.) Слушаю. Квартира Горносталева, кого? Федора? (Евдокимову) просят Федю.

Евдокимов. Дайте я поговорю. Кто это? А — Серов?..

Почему долго канителюмся? Виноват, тут у нас гость уперся, не идет. Но вы не беспокойтесь, скоро будем. Что, что, Нина? Какая Нина? Ах, ваша дочь. Что она? Нет ее. Сейчас (зажимает трубку рукой). Нину спрашивают.

А н я. Скажите, ее не было у нас.

Н и н а (вбегает). Аня, что же вы столько времени?..

А н я. Вот она.

Е в д о к и м о в. Вас к телефону.

Н и н а. Здорово. В точку попала (берет телефонную трубку).

Ну? Да я же здесь. Ладно. Обо мне меньше всего хлопчите.

Что? Не ждите, начинайте, мы скоро приедем (вешает трубку).

Аня, здравствуй, милая. А я сразу с работы к тебе. Ну, а где же Федор?

А н я. Он на работе.

Н и н а. Опять. А это? (указывает на Евдокимова).

А н я. Познакомься, наш давнишний друг, товарищ Евдокимов.

Н и н а. Очень приятно (протягивает руку). Нина Серова.

Е в д о к и м о в (пожимает руку Нине). Петр.

Н и н а. Аня, собирайся, идем к нам.

А н я. Не пойду, Нина.

Н и н а. Тогда нет ли у вас патефона?

А н я. Есть, а что?

Н и н а. Одолжите на вечерок.

А н я. Пожалуйста (уходит).

Н и н а. Товарищ Евдокимов, я собственно к вам. Не удивляйтесь. При Ане говорить не могла. Есть поручение Крылова...

Е в д о к и м о в. Что-нибудь с Федором случилось?

Н и н а. Да. Но пока Ане ни звука. Может все обойдется благополучно.

Е в д о к и м о в. Говорите, что? Где Крылов?

Н и н а. Крылов на месте аварии. Уже прошло больше часа, никаких вестей. Спустился Егоров — не вернулся, спустился Петров — тоже не вернулся. Теперь готовится сам Крылов, он просил срочно прибыть на место, что-то хочет сказать вам.

Е в д о к и м о в. Неприятная вест, очень неприятная.

Н и н а. Что поделаешь? Бензол не пустяки. Идете?

Е в д о к и м о в. Да. А как же Аня?

Н и н а. Я займусь, мне поручили отвести ее к нам на квартиру.

Е в д о к и м о в. Пусть будет так (убегает).

Н и н а. Как быть? Что бы такое придумать? (Входит Аня с патефоном в руках.)

А н я. Только вы почаще меняйте иголки.

Н и н а (берет патефон). Очень благодарна. Можно его посмотреть?

А н я. Сколько хотите.

Н и н а. (Умышленно задерживается, рассматривая патефон.) Прекрасный патефон. Давно купили?

А н я. Недавно. Да собственно мы его не покупали... Это премия Федору за работу (осматривается), а где же Петр?

Н и н а (растерянно). Он... Он сейчас придет, он побежал кое-что купить в магазине.

А н я (заметив растерянность Нины). Неловко выходит, не умеете хитрить. Говори, Нина, правду, куда ушел Петр?

Н и н а. Я же говорю в магазин.

А н я. Неправда.

Н и н а. Ну что же тебя убеждать...

А н я. Не к чему. Вижу, по глазам твоим вижу, Нина. Неправду говоришь.

Н и н а. Тебе кажется. Мнительность, Аня.

А н я. Петр на месте катастрофы, да?

Н и н а. Я сказала: он скоро придет.

А н я. Говори, Федор жив? Все говори!

Н и н а. Мы сами ничего не знаем.

А н я. То есть как?..

Н и н а. Никто не вернулся.

А н я. Значит, никакого ответа?

Н и н а. Никакого.

А н я. Так же вот несколько лет тому назад во время катастрофы двое спустились в бензолохранилище и не вернулись.

Н и н а. Несмотря ни на что, твой муж решил первым... Иметь такого мужа — великая гордость.

А н я. Вот уж и не знаю, гордиться мне или плакать. Как ты думаешь, легко потерять такого мужа? (За сценой шум, голоса, врывается Петр, хватает Нину, Аню, кружит их. Дверь открывается, входит усталый Федор: костюм на нем грязный, кое-где изорван, лицо темное, противогаз висит набоку. За ним идет Крылов.)

Ф е д о р. Ну вот, кажется, все и в порядке.

А н я. Федя! (Целует Федора.)

Ф е д о р. Умеем воевать, не правда ли, Крылов?

К р ы л о в. Верно, Федор. Крепки, не сломишь.

Ф е д о р. Живем, Аня! Живем и жить будем. А ты наверно слез пролила сколько?

А н я. Как тебе не стыдно!

Ф е д о р. Ну-ну, шучу (целует Аню). А где Петр? Петр, где ты?

Е в д о к и м о в. Я здесь (выходит на середину).

Ф е д о р. Почему от жены удрал? (Доносится шум моторов, все прислушиваются.) Тише, слышите?

Е в д о к и м о в. Моторы гудят.

К р ы л о в. Наконец!

Н и н а (заводит патефон). Внимание! Дорогие хозяева, мы ждем, ждем вас и не дождемся... Стол накрыт, пожалуйста в гости.

Ф е д о р. Ого, весело встречают! Нина, беги, скажи отцу — едем всей оравой. Ну, друзья, — пошли!

## На Восток!

Полощутся флаги,  
И трубы гремят.  
Разлит над пероном  
Цветов аромат.  
Звонки. Суматоха.  
Протяжный свисток, —  
И тронулся поезд  
На Дальний Восток.

Взлетел над вокзалом  
Дымок синеватый...  
Смех, песни и гам...  
— До свиданья, девчата!..  
Вплетается в песню  
Колес перестук.  
На Дальний Восток  
Провожаем подруг.

Счастливым вам путь,  
Боевые подруги!  
Вспомынем их песней,  
Товарищи-друзи!  
Умчались они  
На большие дела.  
Нам родина  
Общую радость дала.

Ведь этою радостью  
Все мы объаты.  
Как славно, подруги,  
Как славно, ребята,  
Шагать по земле  
По цветущей своей,  
Работать, учиться,  
Растить сыновей.

Отважно врубаться  
В земные глубины,

Отыскивать золото,  
Нефть и рубины.  
Уметь в океанах  
Обшаривать дно  
И ткать первосортное  
Полотно!

Велик благотворный  
Порыв созиданья!  
Девчата, подруги мои,  
До свиданья!  
Вас ждут  
Среди темной тайги города,  
Амура приветливая вода,

Лесные порубки  
И рыбные ловли,  
Домов недостроенных  
Новые кровли...  
Так мчись, паровоз,  
Разливайся, свисток!  
Вас встретит приветливо  
Дальний Восток!

## Дружба

Зазвенел будильник резко,  
И от сна помина нет.  
Я смотрю сквозь занавеску,  
Как за дальним перелеском  
Начинается рассвет.

Против окон у забора  
Приютилася сирень.  
Засияет солнце скоро  
Среди синего простора, —  
Значит будет славный день!

Под окном кусты малины  
Что-то тихо шелестят.  
У моей подруги Нины  
Из-под бровей соболиных  
Очи ясные блестят.

Я смотрю в окно, у сада  
Пруд сверкает синевой.

По деревне гонят стадо...  
Слышу, как за стенкой рядом  
Нина плещется водой.

Я встаю. Берусь за мыло:  
— Ух, холодная вода!  
Здравствуй, Нина!  
— Здравствуй, милый.  
Что же ты какой унылый?  
— Я унылый? Никогда!..

Мы учились с Ниной вместе,  
Там и дружба началась.  
Вместе с нею пели песни...  
И была ли жизнь чудесней,  
Чем такая, как у нас?

А сейчас мы по колхозам  
Ездим с Ниной вдвоем...  
У пруда стоит береза.  
В голове витают грезы,  
Едем, думаем, поем.

Кони крепкие, стальные;  
Нет на свете их сильней!..  
Широки поля родные...  
Сзади вьются, как живые,  
Шесть пластов по целине.

Я кричу:  
— Не правда ль, Нина,  
Утро — славная пора?! —  
Солнце встало над долиной.  
Мы навстречу солнцу с Ниной?  
Направляем трактора.

Придорожную рябину  
Греют буйные лучи...  
Первым едет трактор Нины.  
Ей не зря в Кремле Калинин  
Орден Ленина вручил!

Там, где было лишь болото,  
Плуги борозды ведут.  
Наша дружба и работа,  
Звонкий смех и капли пота  
В урожаях зацветут!



## Два стихотворения

1

Ложись спать, а спать совсем не хочешь, —  
Тебя томит предчувствие весны,  
Хотя давно на сизых крыльях ночи  
К твоей подушке прилетели сны.

В мечтах и снах, и в золотом рассвете  
Ты видишь день, покрытый бирюзой,  
Как он прекрасен, радостен и светел,  
Как он обрызган знойною росой.

О, я приду, приду к твоей постели,  
У лампы сяду в голубом огне,  
И вспомнишь ты, как сумерки густели,  
И застывали на твоём окне.

И тишина, глухая и немая,  
Запомнит все и зачарует вдруг:  
И мы пойдем по торным тропам мая,  
Не размыкая крепко сжатых рук.

2

Небо синее большое,  
Море синее большое,  
Есть у неба горизонт,  
А у моря дальний берег.

У тебя большое счастье,  
У меня большое счастье,  
И у нашего у счастья  
Нет границ и берегов.

---

М. Бритов

## Песня

Тихо, тихо ветер дышит,  
Шелестит, грустит трава.  
Спит любимый, не услышит  
Теплые мои слова.

Разлучили... Погубили  
Друга милого враги,  
Сторожили и убили  
Злою ночью у реки.

Ветер пыль в густые кольца  
По дороге вьет, несет,  
Вспомню друга — комсомольца,  
Жду, волнуясь, не придет!

Ах, давно ли радость, счастье  
В грудь стучались волной.  
На душе — тоска, несчастье:  
Пробудись, проснись, родной!

Тосковала, вспоминала,  
Горевала — и во сне  
Тихо плакала, шептала  
До рассвета в тишине.

Провожала, колыхалось  
Знамя пламенным огнем, —  
Мне казалось, разливалась  
Кровь любимого на нем.

Расцветай в борьбе суровой  
Ярче ненависть к врагам.  
Жизни радостной и новой  
Я до капли жизнь отдам.

Нет, никто не остановит  
Нашу радость и мечты.  
Ветер рожь густую клонит,  
Треплет ласково кусты.

## Дальний Север

Ледяные громады  
До далекой Канады  
Полонили седой океан.  
Там веками метели  
Над снегами гудели  
И висел непроглядный туман.

На неведомый полюс,  
По торосному полю,  
Смельчаки одиноко брели, —  
Только ветер колючий,  
Да косматые тучи  
Их останки пургой замели.

Но навстречу буранам,  
На борьбу с океаном  
Вышли нашей земли корабли.  
Льды, упорней гранита,  
Перед мужеством Шмидта  
Устоять в этот раз не смогли.

Манит Север сияньем.  
Там, в седом океане,  
Тайну долго хранили снега...  
Мы куем нашу волю —  
И на Северный полюс  
Наша твердо ступила нога.

Мы все тайны откроем!  
Нашим славным героям  
Жизнью дан соколиный залет.  
Сквозь любую преграду  
В голубую Канаду  
Ни один пролетит самолет.

Улетая к зарницам,  
Краснокрылые птицы

Режут грудью циклоны в пути.  
В нашей родине милой  
Даже Север унылый  
Мы заставим для нас зацвести.

## Эрдж-Кинез

На заоблачные кручи,  
По уступам скал,  
В черных бурках, грозной тучей,  
Наш отряд взлетал.  
Полегло бойцов немало, —  
Шел стодневный бой.  
Мы на шейхов, генералов  
Хлынули волной.  
Наши взмыленные кони  
Рвали удила,  
За Деникиным погоня  
Лютая была.  
И раскинулось над нами,  
До седых небес,  
Боевое наше знамя —  
Имя Эрдж-Кинез<sup>1</sup>.  
А теперь, когда остыли  
Острые клинки,  
Мы в колхозах закалили  
Крепкие полки.  
С молодыми рядом встали,  
Перестроив мир.  
Нас ведет Иосиф Сталин —  
Мудрый бригадир.  
По цветущим горным склонам,  
Где свежа вода,  
Бродят пастбищем зеленым  
Тучные стада.  
Далеко уносит ветер  
Песню чабана:  
«Всех чудеснее на свете  
Ты, моя страна!»  
По долинам, где прохладой  
Залиты сады,  
Яблонь, груш и винограда  
Тяжелы плоды.

<sup>1</sup> Эрдж-Кинез в буквальном переводе — „Князь бедных“, так чеченцы называли тов. Орджоникидзе.

Там поют горянки песню,  
Вторит им зурна:  
«В мире нет тебя чудесней,  
Юная страна!»  
Как вершины снежных сопок  
Раннею весной, —  
На полях кудрявых хлопок  
Блещет белизной.  
По ущельям, где дороги  
Срезали гранит,  
Заковал бетон пороги,  
В саклях свет горит.  
И везде идем мы с песней,  
Наша цель — ясна!  
В мире нет тебя чудесней,  
Славная страна!  
Если вспыхнет на границе  
Вражеский костер, —  
Наши пламенные птицы  
Рассекут простор,  
Наши дочери-горянки  
Сядут у рулей,  
Сыновья погонят танки,  
Сотни кораблей...  
Да и мы бывшие наши  
Вспомним времена, —  
За покой колхозных пашен  
Встанем в стремяна.  
За страну Советов встанем  
В стройные полки,  
За тебя, великий Сталин,  
Обнажим клинки!  
И раскинется над нами,  
До седых небес,  
Боевое наше знамя, —  
Имя Эрдж-Кинез.

---

В. Азин, А. Сонин

## Хрустальный Гусь

(ИЗ ПРОШЛОГО ГУСЕВСКОГО ЗАВОДА)

## НАЧАЛО ХРУСТАЛЬНОГО ГУСЯ

## 1

В начале 1700 годов в «Санкт-Петербургской Мануфактур Коллегии» все чаще и чаще начинают называть фамилию Мальцовых.

Это — орловские купцы, суровые раскольники, владельцы полотняных мануфактур.

В тридцатых годах один из них приезжает в столицу. Его еще называют Васькой Мальцовым, а он исподтишка «покупает» чиновников и вдруг объявляет о намерении построить стеклянный завод.

Откуда у Васьки Мальцова такие деньги большие появились, — доподлинно никто не знал. Но вокруг него ходили нехорошие разговоры, будто он, Мальцов, деньги не добром приобрел...

В эти годы стеклодувное дело в России только-только вставало на ноги. В 1635 году его начал иностранец Коэт, построивший близ Москвы фабричку. Затем в Саранске объявился свой фабрикант Иван Бахметов. Петр I, посетивший эти заведения, предписал: «прилежное о том старание иметь, каким бы образом вновь такие и иные курioзные художества в Империю Российскую вводить».

Заводчикам «курioзных художеств» предоставлялись льготы, и императрица Анна, мнившая себя продолжательницей петровских преобразований, узнав о намерении Мальцова, указала выдать новому заводчику крестьян из дворцовых волостей.

В 1736 году завод Мальцова, выстроенный в Можайске, дал первое стекло.

Мальцовы начали входить в силу. Они покупают полотняные заводы в Орле, приобретают фабрику Спинцеля, ведут бойкую торговлю на ярмарках, а сын Василия Мальцова — Яким покупает у саранского помещика Симонова имение Никулино, затерянное в глухих мещерских лесах.

В 1756 году, неподалеку от этого имения, на берегу лесной

мелководной речки Гусь, Яким Васильевич строит гуту — небольшое деревянное здание, похожее на сарай, с печью, в которой в восьми тиглях, называемых попросту горшками, «варилось» стекло.

На новую «фабрику» Яким привез рабочих, — купленных, дареных, присвоенных, а то и украденных.

Привезен был Иван Савин, калмыцкой нации, купленный у канцеляриста орловской таможни Саввы Максимова; Никита Максимов с сыновьями из города Можайска, приписанный Государственной Мануфактур-Коллегией в 1750 году.

Была здесь и вдова Наталья Филиппова с сыном Алексеем, проданная Якиму торжецким помещиком Иваном Каракалиным после того, как она совершила побег от него.

Много было привезено рабочих, подаренных императрицей Анной Иоанновной...

Привезли крепостной народ на новую фабрику и приказали обживать.

Вокруг гуты появились низенькие бревенчатые хозяйские избушки, лабазы, управительский дом.

— Ну, братцы, завезли нас к чертям в болото, — горестно вздыхали мастеровые.

Кругом, на сотни верст, тянулись дикие мещерские, муромские леса; огромными массивами лежали болота. И здесь, в глуши, решил Яким Мальцов положить начало хрустальному делу.

Прельщало его дешевое топливо, а главное — белый чистый песок, из которого можно варить хрусталь. Богатейшие россыпи песка лежали здесь нетронутыми, неиспользованными.

Вскоре неподалеку от гуты начали строить шлифовальную для отделки хрусталя. Пришлось перестраивать и гуту. Выложили кирпичные стены, перестроили верстаки, и зимою 1761 года тронулись на ярмарки первые обозы, груженные хрусталем.

Ночами над заводом стояло багровое зарево. Отсветы пламени кровавыми пятнами вспыхивали в небе.

Завидев их, крестьяне окрестных деревень испуганно крестились и шептали:

— У Якимки Мальцова в аду работа идет.

Работа была действительно адская. На высоком помосте вокруг печей трудились полуголые мастеровые. От жары нечем дышать. Палит и жжет расплавленное стекло. Яркий свет раздражает глаза, и они слезятся. Лицо и руки потрескались, кровь запеклась на ранах. Но отойти и передохнуть нельзя. Смотритель Осип Морошкин палкой подгоняет замешкавшихся.

— Не дай бог попасть в этакое, — говорили про гуту...

Окрестные помещики сторонились Мальцова. Они все-таки были дворяне, а он простой купец, к тому же раскольник.

А Мальцов потихоньку расторговывался, одаривал деятелей Мануфактур-Коллегии, слал подарки министрам, в пояс кланялся Бахметову и приглядывался, — как бы этого Бахметова задать.

Он начал разворачивать дело. Но вдруг ставленник родовитого дворянства епископ Антоний Владимирский затеял против Якима судебное дело. Один из мастеровых, Григорий Никитин Воробьев, донес на хозяина, что «в церковь божью для молитвословия оный Мальцов не хаживал и вовсе не ходит. А когда я в воскресенье и в праздничные дни в село Селимово в церковь божью отпрашивался для слушания божественных служб и для моления, тогда оный Мальцов ходить мне с угрозанием крайне запрещал и велел молиться по обычаю его, Мальцова, в его доме». Доносил Воробьев и о том, что будто бы в моленной у хозяина хранится покров богородицын, мощи какие-то.

По доносу в Гусь нагрянул сыщик Ефим Иванов Дурнов с командою солдат.

Мальцов угостил «гостя» «чем бог послал» — настойками, соленьями, вареньями и дал кое-какие подарки, а пока сыщик бражничал, в Петербург поскакали мальцовские курьеры тоже с подарками и письмами в Мануфактур-Коллегию. Яким просил заступничества.

Заработала бюрократическая машина. Взяли в острог и забрили в колодки Григория Воробьева. Духовная консистория потребовала от Мануфактур-Коллегии, чтобы она распорядилась доставить в присутствие купца Мальцова, состоящего под ведением оной Коллегии.

Но могущественная Мануфактур-Коллегия, в которой верховодили такие же купцы — Демидовы, Строгановы, Бахметовы, — уперлась, и Мальцов продолжал спокойно работать. На всякий случай он запасся справками о том, что «у святого причастия бывает», и справками, как частоколом, отгородился от притязаний епископа Антония...

Три года тянулось дело «о потаенном расколе содержателя гусевской хрустальной фабрики».

За это время умерла Елизавета — покровительница епископа Антония, скоропостижно отцарствовал Петр III, начала свой век Екатерина...

Екатерина прикончила дело, повелев оставить его без последствий.

Потерпел в этой распре один «доносчик» — Григорий Воробьев. По воле хозяина Григория били кнутом и сослали в далекий сибирский город на поселение «яко вора и возмутителя». Яким ликовал. Первая битва с сильными мира сего была выиграна.

В 1775 году императрица Екатерина пожаловала Мальцовых дворянством. Правда, стоило это Якиму дорого: много хрустальной посуды и золота пошло на подкупы царедворцев. Однако теперь он стал дворянин!



Якимка Мальцов, орловский мошенник и старовер, стал их благородием Акимом Васильевичем. Сыну Сергею, еще не вошедшему в года, уже дали чин гвардии сержанта.

— А может и до генерала дойти, — кичился Аким, — нам, Мальцовым, все возможно. Мы в империи Российской — сила.

Сила Мальцовых действительно росла. Полтораста тысяч десятин земли и леса, десятки деревень, несколько заводов и гостиных дворов приносили миллионные доходы.

— Хорош гусь, — говорили о Мальцовом в Петербурге. Говорили презрительно, но втайне завидовали ему.

Соседи-помещики Симоновы, Страховы, Небольсинские и даже князя Лопухины были в долгу у Акима Васильевича, заискивали перед ним.

В Мещере, под боком, — как бельмо на глазу, — жил соперник Баташов.

Вниз по реке Гусь, при впадении ее в Оку, встали баташовские домны и замок. Баташовское железо звенело на всю Россию. Резиденция «железных магнатов» именовалась Гусь-Железный.

Когда Аким Васильевичу напоминали о Баташовых, он хмурился и ворчливо замечал:

— Гусь-Железный, подумаешь — удивили! У меня есть свой Гусь. Почтище Железного, Хрустальный Гусь! — В пику Баташовым Мальцов приказал именовать свой завод и поселение «Гусь-Хрустальный».

Впрочем, есть и другая история. Рассказывают, что когда была построена первая гута, мастера, чтобы показать свое искусство, сделали большую стеклянную птицу и поставили ее на крышу завода. Птица напоминала гуся. И окружные крестьяне прозвали местечко «Хрустальный Гусь». Но это едва ли правильно.

Вокруг гусевского хрустального завода Мальцов построил еще пяток стекольных, на которых делалось оконное стекло, бутылки, банки «огрызки»<sup>1</sup>.

Барыши текли в мальцовские карманы. — жить бы Аким да радоваться, но тут неожиданной гостьей подползла старость.

Аким Васильевич стал сдавать. Одолела хворь. Заводы надо было передавать наследникам, но наследники не нравились старику. Сын Сергей в генералы не вышел. Недалекий, робкий, он еле-еле дотянул до гвардии корнета. Куда ему управлять имением.

«Такого Бахметов с одеждой съест», — думал Аким.

Правда, был брат — Фома. Ловкий пройдоха, грабитель, — как звали его за глаза соседи, но Фома был жаден. «Жадность глядеть далеко мешает», — судил о брате старик. Из-за жадности у Фомы случались неприятности. Так, 13 января 1805 года Владимирский гражданский губернатор князь Дол-

<sup>1</sup> „Огрызок“ — стеклянная посуда, напоминающая кадучку.

горуков получил из Петербурга тайное письмо с жалобой на Фому Мальцова:

«Милостивый государь мой князь Иван Михайлович! Владимирской губернии, Судогодского уезда вотчины секунд-майора Мальцова крестьяне принесли на него Государю Императору жалобу в том, что он отнял у них купленные ими лес и пустоши и изнурял их чрезмерными работами, привел в совершенное разорение так, что они едва имеют дневное пропитание. Его Императорское Величество высочайше повелеть соизволил сообщить Вашему сиятельству, чтобы Вы без оглашения разведали не отягощаются ли подлинно оные крестьяне от своего помещика излишними поборами и работами».

Губернатор немедленно сообщил об этом письме самому Мальцову и повелел с пристрастием допросить жалобщиков. Крестьяне в один голос заявили, что «Мальцов дышать не дает, работами изнурил до крайности». Но эти заявления были признаны «облыжными», и верх остался за Фомой, показавшим, что он «не изнуритель, а благодетель крестьян»...

Фома выпутался из обвинения. Тем не менее такой наследник не удовлетворял Акима Васильевича. Ему хотелось передать заводы в руки человека, который бы сумел возвеличить новых дворян. Так и умер Аким, не найдя подходящего наследника. Гусь перешел к сыну Сергею, гвардии корнету, жившему в Петербурге.

Несколько раз приезжал новый хозяин на завод, чтобы посмотреть на своих крепостных, хозяйским глазом окинуть гуту и шлифовальню.

Но какой это был хозяин! Имел он понятие в лошадях да в картах, требовал денег, а до остального не касался.

Подрастал настоящий наследник, сын Сергея — Иван.

## ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК И КАВАЛЕР

### 1

В молодости Иван мечтал о карьере литератора. Но отцу гвардии корнету Сергею Акимовичу хотелось видеть сына дипломатом. Сын прилежно учился. В нем уже ничего не осталось от дедов, грубоватых орловских купцов. Он был худощав, бледнолиц. Носил черный фрак и очки. Тонкие, почти бескровные, губы плотно поджимал. Было трудно отгадать, о чем он думал. Такие нравились в канцеляриях Коллегии иностранных дел, и ему готовили местечко.

Но все-таки он мечтал о литературе. Были даже попытки писать. Когда Нессельроде свел его с Грибоедовым, Иван Сергеевич отрекомендовался:

— Мальцов. Литератор.

С Грибоедовым ему предстояло поехать в Персию, в качестве секретаря при русском министре.

Грибоедову Иван Сергеевич завидовал. У того уже были орден и чин, написано «Горе от ума», и хотя пьеса и не вышла в свет, но в списках ходила по рукам. Мальцов же только начинал карьеру.

В Персии к зависти прибавилась неприязнь. Слишком прямолинеен и требователен был Грибоедов. Осторожному и во всем аккуратному Мальцову это не нравилось.

В то время в Персии столкнулись интересы России и Англии. И то и другое государство мечтало колонизировать Персию. У России было больше возможностей; на границах Персии, в пределах Кавказского наместничества, стояла 20-тысячная русская армия.

У англичан действовала Ост-Индская коммерческая компания, располагавшая золотом, но полномочный министр российской империи — Грибоедов мешал англичанам хозяйничать в Персии.

Англичане предлагали русским послам денег. Иван Мальцов был непрочь совершить эту сделку. Грибоедов противился. Мальцов предупреждал его от опрометчивости, потому что был осторожен и трусоват, но посол презрительно кривил рот и приказывал:

— Иван Сергеевич, я прошу вас сделать немедленно. — И Мальцов делал.

Англичане призвали на помощь мулл. В конце января 1829 года в мечетях Тегерана произносились речи против русского посла.

— Несчастье персидского народа, — говорили муллы, — идет от русского посла. Он гневит аллаха, и пророк обрекает его на смерть.

Так англичане решали свой спор с Россией за персидский рынок и за владычество в Персии.

В этот же день Грибоедов записывал в своих бумагах: «Наши дела идут очень плохо».

Но от своей политики не отступал. Он ни на иоту не уменьшал требований, ибо уменьшение их значило бы уступку англичанам.

Вечером он призвал Мальцова и распорядился:

— Иван Сергеевич, будьте добры сегодня же составить ноту. Употребите самые сильные выражения.

Мальцов знал, что речь идет о ноте персидскому правительству по поводу особого положения русских в Персии. И он пытался возразить:

— Но эта нота...

— Составьте сегодня же, — перебил посол тоном, не допускающим возражений.

А к утру толпа фанатиков осадила двор российского посла, Мальцов проснулся от дикого воя толпы и, поняв в чем дело,

побледнел. Он проклял день своего приезда в Персию, он проклинал Грибоедова.

— Только бы спастись... Спасти бы... — стучало в его мозгу.

Трясущимися руками хватал он из стола золото и ассигнации, набивая ими карманы.

Потом побежал. Еще можно было спрятаться. Персидская стража за горсть червонцев пропустила его в один из домов. Там, зарывшись в груды ковров, пролежал он более суток... Его выпустили, когда все уже было кончено. Русский посол, автор бессмертной комедии, Александр Сергеевич Грибоедов, растерзанный, валялся на окраине Тегерана среди вонючей свалки.

Персы испытывали Мальцова. Все-таки он был единственным свидетелем убийства. И Мальцов оправдал надежды. Он заявил персидскому шаху Фехт-Али:

— Виноват во всем сам Грибоедов. Я скажу об этом русскому царю и он поймет, что виноват только посол...

Иван Сергеевич извивался перед правителем Персии. Иван Сергеевич дрожал за свою шкуру.

Теперь он рвался из Персии. Нет, ничто больше не заставит его поехать сюда, только бы скорее вырваться, уехать в Россию.

Шах одарил Мальцова. Был даже обещан орден Льва и Солнца. И секретарь успокоился. «Конечно, — утешал он себя, — во всем виноват этот сумасшедший Грибоедов, и моя совесть чиста, как хрусталь»...

— Как хрусталь...

Он вспомнил, что во Владимирской губернии у отца есть хрустальный завод.

— Буду хрусталь делать, а Персию — ну ее к черту...

## 2

В Петербурге Ивана Сергеевича приняли и обласкали. За верность он получил орден и чин. Но напуганный смертью, стоявшей так близко, Мальцов подал в отставку. Он уже не мечтал ни о литературе, ни о дипломатии. У него было другое дело. От отца ему достались мануфактуры в губерниях Рязанской, Смоленской, Новгородской, Симбирской, Владимирской. Досталось около полутора тысяч десятин земли. Иван Сергеевич мог бы быть влиятельным лицом в Мануфактурной Коллегии.

Он начал приводить в порядок отцовские дела. На стеклянных фабриках у него были управляющие. Он там не бывал. Для него начиналось дело в Петербурге.

Он встретился здесь с ловким образованным человеком Сергеем Соболевским. Соболевский побывал в Англии, Франции, Голландии, изучая промышленность. Такой человек подходил

Мальцову, и в компании с ним Иван Сергеевич начал строить в Петербурге ткацкую фабрику.

Связи в дворцовых и министерских кругах были солидным подспорьем. Фабрика работала на казну, на армию. Золото щедро текло в карманы, но вместе с деньгами росла у Ивана Сергеевича жажда стяжательства.

Никто бы не узнал в этом человеке мечтательного литератора. В ранней молодости он подражал людям известным — манерами, речами и даже некоторым щегольством.

Бывало, черный фрак на Иване Сергеевиче всегда с иголки, цилиндр из Лондона, темнокоричневый шелковый шейный шарф. Любил Иван Сергеевич пролететь по Невскому на сером в яблоках рысаке, чтобы пустить пыль в глаза...

Теперь же от фабрики до своего особняка он ходил пешком. Ходил все в одном и том же сюртучке, какие носили младшие канцеляристы. А обед ему в контору приносили из ближайшего трактира.

Но к его голосу прислушивалась Мануфактур-Коллегия. Он был обладателем нескольких тысяч крестьянских душ, которых он превращал в мастеровых.

В его фабричную контору являлись курьеры из министерства, от самого князя Горчакова.

Иван Сергеевич выходил в люди.

У обер-прокурора святейшего синода — Нечаева он крестил детей и был своим человеком.

Когда-то, в 1828 году, на вечере у Булгарина Иван Сергеевич с трепетом смотрел на великого русского поэта Пушкина и завистливо думал:

Ах, кабы случилось, что появились книги — Сочинения г-на Мальцова. — Тогда он так же с независимо поднятой головой прошел бы по гостиной Булгарина...» А теперь Иван Сергеевич считал это мальчишеской глупостью и о Пушкине мыслил неодобрительно.

У него даже случались споры с Соболевским, который был близок к поэту.

Иван Сергеевич не любил умного, острого на язык поэта Пушкина.

— Что он там пишет? — говорил Мальцов Соболевскому, — народы, свободы. А народу этому строгий хозяин нужен, который бы держал его в ежовых рукавицах. Я, сударь мой, знаю этот народ.

В столичном обществе Иван Сергеевич считался передовым человеком. В его контору целыми ящиками присылались книги. Он вел переписку с границей и про Пушкина говорил:

— Наш друг, Пушкин.

Но деньги у Ивана Сергеевича были на первом плане. Они текли к нему с фабрик, они давали ему проценты с должников. Когда был убит Пушкин, Иван Сергеевич прежде всего хлопотал о том, чтобы не пропал его должок за поэтом и писал в

Париж Соболевскому: «Дружеская рука успела вписать мое и твое имя в список кредиторов. Деньги наши не пропадут»...

Пусть Пушкин умирает, пусть закатывается солнце русской поэзии, лишь бы у Ивана Сергеевича не пропала какая-то тысяча рублей!..

### 3

Иван Сергеевич решил съездить в свое родовое имение во Владимирской губернии. Там на хрустальном заводе управлял его доверенный, титулярный советник Веприйский.

На заводе делался хрусталь. К этому времени в министерстве торговли был уже составлен проект указа о запрещении ввоза в Россию хрустальной посуды, так как российская стекольная промышленность большими шагами шла в гору.

Преуспевал в этом Бахметов. Его заводы в Саранском уезде конкурировали с Англией и Богемией. В шлифовальнях Оболенского гранилась посуда для гостиных высочайшего двора.

Иван Сергеевич решил не уступать конкуренту.

Путь до Гусь-завода, так называлось имение Мальцова, был долог и утомителен. Если до Владимира еще шел почтовый тракт, то дальше начинались леса... Завод был в лесу.

Низенькие домики, разбросанные вокруг черного закопченного здания гуты, были убоги и нищи. Неподалеку возвышалась церковь, построенная еще Сергеем Акимовичем в память деда Акима.

Хозяина встретили хлебом-солью. Все жители поселения встали на колени, и вдоль покорных рядов в коляске проезжал владелец завода к дому Веприйского.

Иван Сергеевич ехал медленно, оглядывая склоненные головы и спины в худых армяках, посконных, сползающих с плеч, рубахах. Многие из них ждали от барина «послаблений», облегчения каторжной участи.

— Отец наш, — вопили женщины.

— Батюшка...

Иван Сергеевич воображал, что он и на самом деле отец и защитник этих людей. Он важно оттопыривал нижнюю губу и немного затуманенным, усталым взглядом скользил по толпе. Вдруг он встретился глазами с худым, оборванным мастеровым. Ворот рубашки у того был широко распахнут и по коричневой жилистой шее висела черненькая полоска гайтана.

В этих глазах Иван Сергеевич увидел что-то совсем не похожее на покорность.

— Кто такой? — спросил он, указывая на мастерового тростью.

— Разумей Васильев, мастеровой при гуте, приписан на дворянском праве светлейшей памяти родителю вашему Сергею Акимовичу, — ответил Веприйский.

Хозяин нахмурился.

— Мастер гораздый, — добавил управляющий.

Разумей Васильев не понравился Ивану Сергеевичу.

На заводе Иван Сергеевич пробыл несколько дней. Он лично осмотрел гуту и шлифовальню. Шлифовальня стояла вниз по реке версты за две от гуты, на «Нижнем», так называлось это место.

Посуду из гуты носили в шлифовальню на носилках. «Следует перенести поближе, — думал хозяин, — иначе слишком много разбивается в дороге».

Он побывал у соседей-помещиков. В округе было несколько мелких стеклянных фабрик. Владельцы их трепетали перед могущественным соседом, тайным советником и кавалером.

Иван Сергеевич снисходительно слушал их заискивающие разговоры, иронически осматривал «мануфактуры» и походя благоприобретал мастеров.

У одного из соседей — Дангурова — ему приглянулся ловкий расторопный мастеровой. Высокий, русый, еще молодой мужчина с белыми сверкающими, как кипень, зубами, он проворно работал около печи с расплавленным стеклом.

Мастерового звали Максимом Зубановым.

— Продайте мне этого, — сказал Иван Сергеевич, обращаясь к владельцу.

— Нет, ваше превосходительство, продать не могу, а вот ежели вам будет угодно совершить мену: на вашем заводе псарня имеется и коли угодно, то я вам уступил бы Максима за мышастую борзую.

Иван Сергеевич кивнул головой, он был согласен на такую мену.

Максим Зубанов стал мальцовским.

...Обстоятельства не позволили Ивану Сергеевичу надолго задерживаться на заводе, нужно было возвращаться в Петербург.

Уезжая, он сказал своему доверителю:

— Я возлагаю большие надежды на хрустальный завод. Приложите все старания, чтобы на макарьевской ярмарке мой хрусталь был несравненно пригляднее товаров Бахметова. Я подумую, может быть, нужно прислать бельгийских мастеров, кои весьма искусны в хрустальном деле.

— Слушаю, ваше превосходительство, — услужливо отвечал Веприйский.

— Кроме того, я имею проект учредить здесь и бумаготкацкую фабрику по типу моего петербургского заведения, но пока этот вопрос еще не обдуман окончательно...

...Резвая тройка понеслась по лесной дороге через Судогду на Владимир, на Москву, на Санкт-Петербург. Зазвенели залихватом под дугой колокольцы. Тайный советник и кавалер Иван Сергеевич Мальцов ехал наживать новую славу, новые миллионы, ехал меряться силами со стеклянным королем Бахметовым, а может быть, с Англией и Богемией.

# ЗАГОВОР МАСТЕРОВЫХ

## 1

Борьба предстояла серьезная. В Петербурге бахметовский хрусталь ценился выше мальцовского. У Бахметова и мастера были лучше, опытнее. Но алчность Ивана Сергеевича не знала границ и препятствий, а, следовательно, Веприйскому нужно было выполнять приказ своего хозяина.

Не надеясь перещеголять хрусталь Бахметова качеством, он решил съест конкурента ценой.

— По копейке дешевле продавать, — думал он, — и останется тогда Бахметов в нетях.

А копейчку эту управляющий предполагал выжать у мастеровых.

Шло лето. Гута начинала работать с зарею и кончала к заре. Шлифовальня работала меньше на два часа. Веприйский приравнял их. Он урезал также харч. Щи были заменены грибами и тюрей. Вместо двух пар лаптей и одной пары колодок<sup>1</sup>, положенных на месяц, теперь выдавали шлифовальщикам только одну пару лаптей, а гутенским — колодки.

К осеннему празднику Акима и Анны в конторе велся расчет с вольными и по задельной плате с приписными, но этой осенью 1837 года Веприйский ошарашил мастеровых — задельная плата по его подсчетам оказывалась списанной за харч и одежду. Остатки пошли на уплату подушных податей.

Купцы, каждую осень наезжавшие на завод, в этом году не расторговались.

Зиму встречали невесело. Если летом мастеровые еще кое-как перебивались на ягодах, на грибах, тайком собираемых в хозяйских лесах, то зимой ожидали голода...

Некоторые из вольных ушли на Волгу к Бахметову и на Петербургскую казенную фабрику.

Среди приписных началось брожение. Московский купец Ефрем Семенов советовал «стеклянному мастеру» приписному Разумею Васильеву:

— Уходить надо. Чай вы не в крепость Мальцову отданы. Вы на манер вольных и от дворовых отличие должны иметь. Барин-то ваш вор известный, побольше заграбастать норовит. Постой, он и вас в холопы обращает.

Эти разговоры Разумей по секрету передавал своим товарищам, считавшимся не крепостными Мальцова, но приписанными, отданными ему в работу.

— А что ж, ведь и вправду не крепостные мы Мальцову. Нет у него прав над нами измываться.

— Может Ивану Васильевичу Веприйскому челобитную подать?

<sup>1</sup> Род деревянной обуви.



— Нет, овцам к волку не след с челобитной ходить. Пустое дело, — возражал Разумей, — а вот слыхано, будто в Москве указ есть о том, чтоб дать нам волю от Мальцова. Этого указа надо добиваться...

Но разговоры не помогали в нужде. Зима шла лютая и голодная. Надсмотрщики стали свирепее, за каждую малую оплошность нещадно наказывали. За каждым шагом следили, к каждому слову прислушивались...

В четверг, 24 февраля, Разумей шепнул друзьям, чтоб после полночи собрались бы к нему в амбар.

Ночью у Разумея собрались восемнадцать человек. Все это были люди, не принадлежащие Мальцову, но приписанные к его фабрике и присвоенные им. Всем им мерещилась воля, как избавление от каторжной, подневольной фабричной жизни.

На тайном совете было решено подать челобитные Веприйскому, в которых изложить свои нужды, а если управляющий не примет эти челобитные, то выбрать ходока и направить его в Москву на розыски бумаги с указом о воле.

— Надо действовать согласом, всем за одно, — уговаривал Разумей, — в одиночку нас одолеть легко, а миром будем стоять — добьемся своего.

— В миру сила, — поддакивал брат Разумея Семен Васильев.

Мастеровые условились вновь собраться в ночь с субботы на воскресенье и крестным целованием закрепить обещание стоять в правом деле друг за друга и никого не выдавать.

— Зверь-то как раз у заутрени будет, — говорил Разумей об управляющем, — а мы тут и порешим, как лучше дело начать.

Расходились тишком, поодиночке, чтобы кто-нибудь не проведал об умысле. У каждого появилась надежда вырваться из цепких когтей хозяина, вздохнуть свободно...

В субботу в гуте рано шабашили, и Разумей бегал за двенадцать верст в Селимово к попу, упрашивал его написать челобитную. Хотели просить своего, гусевского, попа, да побоялись, — донесет.

К утру в избу Разумея пришли мастеровые — Иван Николаев, Илья Сергеев, брат Разумея — Семен, с сыновьями Иваном и Степкой, Григорий Ерофеев с братом Сергеем, Иван Калмык и еще несколько человек.

Засветили лучину, завесили окна кафтанами, и Разумей вынул из-за пазухи бумагу.

— Вот, тут все наши беды изложены. Каждый руку приложить должен...

— Под кнут бы за такую бумагу не попасть? — опасливо молвил кто-то.

— Нет уж, братцы, надо стоять на чем порешили, миром держаться, а на миру и смерть красна, — уговаривал Разумей.

Он расстегнул ворот старой посконной рубахи и снял с шеи

большой медный крест, висевший на черном гайтане. В избе стало тихо.

Разумей положил крест на грамоту, сложенную вчетверо, и, держа перед собой, начал суровым, строгим голосом:

— Обещаюсь перед миром и богом стоять за правое дело и лучше на смерть пойти, но товарищей в беде не выдавать и держаться друг за дружку, в чем крест святой целую.

Он нагнулся и притронулся губами к почерневшему от пота кресту. Потом выпрямился и, обращаясь к брату, сказал:

— Семка, целуй.

Один за одним прикладывались к кресту мастеровые. Когда тайна была закреплена клятвой, Разумей еще раз предупредил:

— Помните, братцы, кто делу изменит — того бог покарает.

Он снова надел крест на шею. Но еще не успел Разумей застегнуть рубаху, как в дверь изо всех сил заколотили, задержали. Ветхий запор вылетел, и в избу ввалилась толпа дворовых и лакеев управляющего во главе с приказчиком.

— Вяжи злодеев! — закричал приказчик.

Дворовые бросились на мастеровых, началась свалка. Через несколько минут заговорщики были связаны. Раздетых, без шапок, с руками, закрученными назад, повели их во двор к управляющему.

Сбежался народ. Никто не знал, за что взяли мужиков. Любопытные напирали, но приказчик разгонял их палкой и кричал:

— Дай дорогу, воров ведут...

## 2

Так и осталось тайной, — кто сообщил Веприйскому об умысле мастеровых, кто раскрыл их тайные планы. Но управитель испугался. Он немедленно послал в Меленковский уездный суд своего поверенного Кузьму Михайловича Бурьшева с донесением о случившемся, а сам сел за составление письма к губернатору.

«Ваше превосходительство, милостивый государь Иван Еммануилович! — писал он, — на сих днях открыт мною заговор приписных к Гусевской на дворянском, а не на посессионном праве, вверителя моего хрустальной фабрики об отыскивании свободы, и виновные мною представлены суду.

...Осмелюсь просить высоконачальнической защиты и ограждения для спокойствия значительного вверенного мне имения, дабы наказание преступников на месте обуздало своеволие прочих».

К этому письму управляющий приложил копию объяснения, которую он направил с Бурьшевым в Меленковский суд.

В объяснении он так расписывал житье мастеровых, что получалось будто не на стеклянной каторге живут они, а в раю. Писал он о том, что все люди, работающие на стеклянных фабриках Мальцова, получают задельную оплату, что заработки до-

ходят до 300—350 рублей в год, что дома у мастеровых казенные и что вдовы и сироты получают от хозяина пособие.

Однако Веприйский умолчал о том, что заработок мастеровых списывается за харчи, за квартиры, за обувь и что от 300 рублей мастерскому не оставалось ничего...

Зато он припомнил все «дерзости» неблагодарных. Он напомнил суду о том, что «из дел конторы видно, что лет тридцать тому назад некоторые из приписных начинали отыскивать свободы, но решением Меленковского уездного суда 1805 года, ноября 25-го числа и по указу правительствующего Сената 1808 г. марта 30-го числа оставлены во владении г. Мальцова».

«Управляя имением камергера Мальцова шестой год, с прискорбием, но со свойственной благомыслящему человеку кротостью смотрел я на безнравственное состояние большей части людей, именующихся приписными, которые, увлекаясь беспрестанно понятиями о свободе или будучи подстрекаемы неблагонамеренными людьми... всегда находятся склонными к неповиновению и грубости, но, стараясь строгою справедливостью и увещанием без телесных наказаний укротить их пороки, взирал на все это с хладнокровием и кроткостью, но они, не внимая сему наконец простерли свою в духе неповиновения дерзость до того, что начали собираться тайно в ночное время»...

Курьер Веприйского прискакал во Владимир 9 марта, и губернатор решил подхлестнуть медлительную машину Присутствия. Егери с губернаторскими указами поскакали в Меленки.

Туда же в острог, под надзор к городничему, на шести подводах отправили заговорщиков. Вместе с ними прихватили и невиновных.

Допрос чинили с пристрастием, строго. Объяснения невиновных в счет не принимали. Прикладывать руки к допросным листам принуждали насильно. Но как ни пристрастны были следователи, как ни принуждали давать показания, а многие наотрез отказались приложить руки к своим допросам.

Через две недели «дело о заговоре мастеровых» было закончено, и меленковский судья Пачиони рапортовал об этом губернатору. Суд усмотрел в деяниях мастеров попытки сокрушить основы хозяйского бытия, а потому «руководствуясь сводом законов уголовных 15 тома III, 242, 243, 247 и 395 статьями, полагает означенных мастеровых: Разумника Васильева, Семена Васильева, Василия Никифорова, Илью Сергеева, Захара Васильева, Степана Семенова, Ивана Николаева и Григория Ерофеева, как более замеченных управляющим г. Мальцова в злонамеренности к неповиновению и увлечению к сему других, чьих поведение на повальном обыске не одобряю, наказать публично плетью через палача и дать оным по 15 ударов каждому в страх другим на месте в Гусевской фабрике, потом сослать в Сибирь на поселение».

Часть из заговорщиков была осуждена на «тюремное содержание», а другие были отданы судом на расправу самому господину Мальцову, «чтобы мастеровые впредь от подобных сему случаю удалялись».

3

На шестой неделе поста в Гусь приехал палач, высокий рыжебородый мужик. Целый вечер его поили водкой на кухне у Веприйского.

А осужденных привезли на день раньше и заперли в амбаре, сторожами приставили барского кучера и двух псарей. Кнута-бойство было назначено на утро.

На площади перед гутой поставили деревянную кобылу. Палач, встрепанный и злой с похмелья, поигрывал плетью, витой из бычьей кожи.

В сторонке стояла скамья для Веприйского и Пачиони. Приказчики сбили народ, в страхе жавшийся поближе к воротам фабрики.

В 10 часов утра на площадь приехали Веприйский и судья Пачиони — черномазый, тощий, с короткими бачками. Вдруг женский голос выкрикнул:

— Ведут, ведут!..

Все повернули головы в сторону барского двора. Оттуда вели осужденных.

Первым шел Разумей. Подточила его тюрьма. Острее выдавались скулы, глубже запали глаза. Лицо посерело. Полукафтанье на Разумее было изорвано. Но шел он с высоко поднятой головой, с устремленным вдаль невидящим взглядом.

Спутники его шагали, понутив головы.

Писарь уездного суда тонким, визгливым голосом объявил приговор. Пачиони махнул рукой.

Разумею подвели к кобыле и, содрав полукафтанье и рубаху, прикрутили ремнями. Палач потоптался на месте, поплевал на руки и взмахнул кнутом. Ремень свистнул в воздухе.

— Раз... — начал считать писарь, — два...

С третьего удара палач рассек спину. Брызнула кровь.

— Шесть... Семь...

Кнут, отсыревший от крови, звонко щелкал. Красные сгустки падали на снег. В толпе не выдержала какая-то женщина и, охнув, упала. Кто-то заголосил. Гутенские и шлифовальщики стояли, угрюмо насупившись.

— Четырнадцать... Пятнадцать. Стой!..

Палач кинул плеть. Ему подали стакан вина, и он залпом выпил его. Приказчики бросились отвязывать Разумею. Думали, что он потерял сознание, но Разумей поднялся сам и, шатаясь, отошел в сторону. Один из приказчиков прикрыл разорванную в клочья спину его полукафтаньем...

К кобыле привязывали брата Семена...

Жена его причитала в голос, как по упокойнику. Он узнал ее голос и крикнул в толпу:

— Нишкни и так горько.

Палач взмахнул плетью...

Последним били Степку, молодого парня. Ему едва минуло восемнадцать лет. Но в тюрьме Степке уже выбили зубы и рассекли щеку. Прядка русских волос, спадавшая на глаза, была склеена запекшейся кровью.

— Барин, батюшка, пожалейте малого, — крикнули из толпы, — простите...

— Как? — вскричал Пачиони, — ворам потворствовать. Вот я вам ужо...

Палач уже притомился. В руках не было той силы, с какой отвешивал он первые удары.

— Одиннадцать, двенадцать, — подсчитывал писарь, — пятнадцать...

Он хотел крикнуть «стой», но Пачиони предупредил:

— Всыпь ему еще пяток!

— Господи, — охнули в толпе, — да что же это? Барин, пожалей.

— Еще! — завизжал Пачиони.

Степку сняли с кобылы замертво. Толпа дрогнула и начала креститься. Мать Степки соседи унесли домой на руках.

Веприйский встал. На нем была надета волчья шуба, бобровая, изрядно повытертая шапка и шейный серый шарф, хотя было тепло. Он сделал несколько шагов по направлению к толпе, сверля ее глазами.

— Вот, — сказал он и в знак важности поднял указательный палец, — вот к чему ведет неповиновение господину своему... Ступайте по местам и работайте. Страх божий да живет с вами.

## ГУСЬ ЗАЛЕТЕЛ К ОРЛАМ

### 1

С заговором мастеровых все было кончено. Осужденных угнали в Сибирь. А в Гусе, по распоряжению хозяина, строились бумагопрядильная и ткацкая фабрики. Крестьяне окрестных деревень возили бревна и бутовый камень, гатили болото, мяли глину, обжигали кирпич. Иван Сергеевич, нагрыв в вотчину, лично наблюдал за работами и отдавал распоряжения управляющему:

— Окромя фабрики, начать постройку жилищ в два порядка. Одну из улиц, — он улыбнулся и повторил: — одну из улиц именовать в честь господина Бахметова — Бахметовской. Другую в память прадеда нашего — Васильевской. Для фабричных, коих имею намерение прислать из Петербурга, с нашей Невской фабрики, устроить Питерскую слободку.

— Слушаюсь, Иван Сергеевич...

— Да, вот что, сударь мой, не распускайте вы их.

— Кого-с? — не понял управляющий.

— Людей. Я, например, сам был свидетелем того, как мастеровые из шлифовальни во время, положенное для работы, ловили неводом рыбу в пруде. Что? Где еще можно встретить подобное. Нам, сударь, у англичан надо учиться устройству промышленности... Да и пруд они портят... Запретить!

— Слушаюсь, Иван Сергеевич.

Об английской промышленности Мальцов был высокого мнения, и не случайно царь собирался послать его в Англию с особым поручением, касающемся экономических связей. Это-то обстоятельство не позволило надолго задерживаться в Гусе, и хозяин отбыл в Петербург. Вскоре после его отъезда в Гусь прибыли «питерские» — такие же бледные, испытанные мастеровые — ткачи и прядильщики. Избы для них еще не были готовы, и приезжие раскинулись табором среди улицы.

Стекольщики приходили в Питерскую слободку посмотреть на своих новых друзей по несчастью, расспросить о Питере.

Максим Зубан, некогда вымененный хозяином на собак и уже обжившийся в Гусе, подружил с питерским ткачом Калиной.

— Так-таки на собаку и выменяли? — спрашивал новый дружок.

— Вот так и есть, — разводил руками Максим, — такая у нас здесь жизнь идет. Вам-то в Питере чай все повольготней было.

— В Питере-то? Куды, брат, как вольготно. Господам, тем, конечно, что не жить. Повидали всяких. А вот нашему-то брату — ой, солоно. Фабрику барин вместе с другим барином, Соболевским, держал. Оба такие выжиги, что не дай бог. Так жали, что не вздохнуть, не пикнуть.

— Неужто послабления не будет? — спрашивал Максим.

— Жди. Как помрешь, так барин на волю отпустит.

— А ведь у нас, — Максим доверительно шептал ткачу, — у нас ведь бунт был. Волю искали.

— Ну?

— В Сибирь пошли. А одного молодого палач до смерти забил...

— Это что, в Питере, слышал ты ай нет, — лет двадцать тому минуло, когда царю присяга была, кое-кто из господ за волю стоял.

— Ну, что же?

— В Сибирь пошли. А которых удавили... А нам — та же Сибирь-каторга в долю досталась. Вот она, — ткач кивал на новое, похожее на тюрьму здание фабрики.

... Фабрика пошла<sup>1</sup>. Жен и детей гусевских мастеров погнали приучаться к новой работе. Но людей нехватало, и на фабрику сгоняли селимовских, суловских, вешенских мужиков.

<sup>1</sup> Фабрика была пущена в 1847 году.

Вскоре на завод приехал новый управляющий Корсаков. Веприйского же Иван Сергеевич решил перевести на другой завод.

— Он мне испортил людей, — говорил хозяин Корсакову, — слишком много развелось вольнодумства. Прошу вас, милейший, держать мастеровщину в строгом повиновении,

— Будьте уверены, ваше превосходительство.

— Для поощрения, пожалуй, можно открыть больницу или там что-нибудь такое.

— Понимаю, — кивал головой Корсаков.

— Однако, никаких бесполезных мечтаний! Крестьяне, милостивый государь, существуют не для того, чтобы думать и рассуждать. Их дело повиноваться и выполнять приказы!

Управляющий улыбнулся уголками рта. В Петербурге он слышал о Мальцове, как о просвещенном человеке, друге Сергея Соболевского — «русского европейца».

Хозяин заметил улыбку и поспешил предупредить:

— Конечно, это между нами.

Корсаков кивнул головой.

Водворившись в Гусе, новый управляющий начал заботиться о выполнении воли Ивана Сергеевича.

Слободки для мастеровых строились кое-как, побыстрей да подешевле, в одну каморку тискали по несколько семей. Рабочие роптали.

Зато в «Губернских ведомостях» писали об этом, как о благодеении.

«Г. Мальцов, — сообщали «Ведомости», — на Гусевском своем заводе для своих мастеров-крестьян устроил дома, состоящие из двух отделений и для двух семейств, а при помещении их наблюдают, чтобы к семейству более нравственному, трудолюбивому, поместить соседом семейство, которое способно увлекаться нетрезвостью и проч., так чтоб первое семейство для последнего всегда служило видимым примером. Такое благоразумное размещение рабочих осязательно дает добрые плоды нравственности мастеровым — крестьянам села Гусь. Согласно с той же целью, холостые работники отделены от женатых, мужчины от женщин и дети от взрослых, каждый возраст и пол имеют своих представителей и надзирателей нравственности».

На каждой улице управляющий назначил сторожей, которым вменялось в обязанность следить за нравственностью «заводских людишек». Этих сторожей называли «чистотой».

Зимой среди рабочих фабрики и завода прошел слух о том, что опять из жалованья по полтине в месяц высчитывают хотят. «Слышь, училище строить для ребят умыслили».

— Ну, на эту нужду не жалко, глядишь, дети грамотеями выйдут, — говорили некоторые.

— Нет, брат, — возражали им, — не для наших это детей. Нашим одна дороженька — в гуту, в хлопцы...

Весна 1856 года выдалась ранняя, дружная. На «Нижнем» белела черемуха, за прудом нарядно зеленела «Баринова роща». В саду, возле дома управляющего, на клумбах распускались первые цветы.

Всю весну управляющего не было в Гусе. Он уезжал в Москву, был во Владимире и только под трицу воротился домой. Вместе с ним приехали гости. Накануне праздника они ходили в гуту и шлифовальню.

Управляющий рассказывал, как делается стекло.

— Все это чрезвычайно просто и в то же время довольно остроумно, — говорил он. — Чтобы сварить стекло, мы берем белый лесной песок, поташ и соду, известь, сульфат, или глауберову соль. Все это нужно измельчить в порошок, перемешать и засыпать в горшки из огнеупорной глины.

Горшки ставятся в печь, температура коей доходит до 1200—1300 градусов.

Через несколько часов стекло готово..

Но, государи мои, если мы хотим получить стекло превосходное, то кладем в смесь сурику, каковой содержит изрядно свинца. Такое стекло именуется свинцовым и имеет особливую прозрачность. Синий цвет мы достигаем добавлением кобальта, и малиновый — золота.

— Золота? — переспросил кто-то из гостей.

— Да, настоящего червонного золота... А вот многоцветная вещичка.

Управляющий взял бокал. Он был темносиний и лишь в прорезанных алмазами гранях блестел чистый хрусталь.

— Это уже достигается искусством мастеров. Нужно взять на трубку свинцового стекла и опустить еще горячий шарик в стекло синее, то есть кобальтовое. Тогда внутри хрусталь будет прозрачен и снаружи синь... Однако, сударыни, — управляющий поклонился дамам, — вам случалось наблюдать, что хрусталь ломается от малых причин, то означает плохую откалку. Каждая вещь должна медленно остыть в откальных опечках, ибо скорое остывание влечет непрочность стеклянной посуды.

— Ах, как это чудесно!

— Изумительно...

Они мешали мастеровым, толпясь возле верстаков, за которыми сидели угрюмые шлифовальщики, исподлобья оглядывавшие необычных посетителей.

Вечером на трицу в честь гостей на пруду устроили катанье на лодках. Пускали фейерверк, жгли плошки. На одной лодке играл оркестр — свой мальцовский крепостной оркестр. Над спокойной зеркальной гладью воды плыла протяжная мелодия песни...

В духов день мастеровых — Зубана, Козлова, Гусева вызвали к управляющему на кухню, поднесли по чарке хмельного



и повели пред ясные очи господ. Барин и гости сидели на веранде, выходящей в сад.

— Ну-с, почтенные, — начал Корсаков, — хозяин доволен вашей работой, однако наказывал, чтобы с большей прилежностью старались вы ради преуспевания дел...

— Мы завсегда с почтением, — ответил за всех Максим Зубан, — и так стараемся, батюшка барин.

— Это наш лучший мастер, — кивнул на Зубана управляющий. — Вот его работа.

Он взял со стола фруктовую вазу, отливающую семицветной радугой спектра.

— Восхитительно! — восклицали дамы, передавая вазу из рук в руки.

— Это ты сделал? — спросила одна, обращаясь к Максиму.

— Должно я. Края-то, кажись, Петрушка, сын, шлифовал, а медальон-то уж сам...

Один из гостей, грузный мужчина с тяжело отвисшей нижней губой, глядел на алмазчика тусклым оловянным взором и, ткнув пальцем в лежавшую на коленях книгу, спросил:

— А вот это сделаешь?

Зубан прищурился. В книге были нарисованы какие-то замысловатые узоры, похожие на маленькие хоругви с петухами, львами, рыбами, листьями странных деревьев.

— На стекло перевести, — вмешался Гусев, — вот главная штука, а отчего же не сделать, картинки обыкновенные...

— Дурак, это не картинки. Это гербы уездов Владимирской губернии.

«Гербы? — подумал каждый из алмазчиков, — а что это такое, — чорт его знает».

— Ну, что ж, ребятушки, — продолжал Корсаков, — в гуту отдано мной распоряжение сварить лучшее стекло и изготовить блюдо и полный сервиз хрустальной посуды. А вы отделаете все это гербами. Сделаете, барин не обидит, награду даст, не сделаете, — смотрите...

Он встал, облокотился на стол руками и с угрозой посмотрел на алмазчиков.

— Будьте убогонадежены, — отвечали алмазчики, кланяясь и пятясь к дверям.

— Кирька, дай им водки, — приказал управляющий дворецкому, — пусть выпьют за здоровье барина.

В кухне, угощая мастеровых водкой, дворецкий заметил:

— Ну, ежели не сработаете, запорют вас. Как пить дать, запорют. Барин-то ласков, ласков, а то и лют бывает...

— Сделаем, — отвечал захмелевший Максим, — мы да не сделаем, да как это так?..

Через неделю в шлифовке отслужили молебен. Поп покропил святой водой верстаки и колеса мастеров. Корсаков еще раз пожелал удачи и пригрозил наказанием.

Весь Гусь был занят мыслью об этой работе.

— Чего-то особое затевают, — говорили хрустальщики. Смирнов, сортировщик посуды, не раз бывавший на торгах, высказывал свои предположения:

— Знать ярманка ныне бойкая будет...

Но делалось это не для ярмарки. У Корсакова были свои виды, подкрепленные распоряжением Ивана Сергеевича.

3

За работой наблюдал сам управляющий. Пока варилось стекло, он часто заглядывал в гуту и стоял над душой у мастеров.

— Чего шляется, — ворчал старик Калмыков, — без него работа спокойнее идет.

Но управляющий хотел своим хозяйским глазом следить за изготовлением посуды. Он драл за уши хлопцев, давал подзатыльники баночникам, кричал на стеклодувов.

В гуте было жарко, и для охлаждения их благородья за Корсаковым таскали корзину пива.

Мастерам тоже хотелось пить, и они поминутно прикладывались к ведрам с водой.

— Ню-но! — кричал Корсаков, — распились, лентяи. Работай дружной.

— Да ведь палит, барин, — оправдывались рабочие.

— Я вот тебе напалю!..

Он приказал смотрителю не отпускать мастеровых до тех пор, пока не будет сделан полный сервиз.

Усталые, очумевшие от жары, рабочие шатались и чуть не падали. Когда становилось невозможно, мастер выбегал из гуты и, не снимая платья, бросался в студеную воду запруды.

Но смотритель уже кричал:

— Штраф, штраф сукину сыну. Вычесь полтинник.

Каждую штуку хрусталя в сортировке просматривал также сам управляющий.

Когда ему что-нибудь не нравилось, он приказывал:

— Привести негодяя.

Посыльные бежали за мастером.

— Эт-то что так-кое? — кричал Корсаков, тыча в нос мастеровому бокал или вазу. — Эт-то что, — я тебя спрашиваю?

Мастер недоуменно молчал.

— Я вас научу... Я вас, судариков, образую. Приказчик, — отобрать у него книжку!

Отобрать книжку — значило лишить рабочего возможности забирать продукты в хозяйском магазине, а так как других лавок в Гусе не было, семья мастерового обрекалась на голод, на нищенство.

— Барин, прости Христа ради, — кланялся в ноги мастеровой.

— Пошел прочь... Приказчик, — увести!

«Хлопцы», — ребятишки лет по восемь, по десять, — под-

ручные у мастеров, испытые, бледные, отравленные стеклянной каторгой, не выдерживали и падали в обморок.

— Барин, — докладывали Корсакову, — хлопец без памяти грохнулся.

— Вынести на волю — отойдет. Да четвертак штрафа с него, подлеца, да отцу сказать, чтоб дома плетью поучил.

А когда уставал управляющий наводить порядки в гуте и шел домой, за него старались здесь приказчики.

Наконец, последнюю посуду сдали в шлифовальню.

Корсаков стал торчать там. Полчаса стоит за спиной у алмазчика, следя за работой. Монотонно визжат колеса, вода струйками стекает по хрусталу, по пальцам. Руки одеревенели, а тут стоит этот бор и бубнит:

— Мотри, мотри, не прорежь. Чище делай.

Не выдержит шлифовальщик, обернется и взмолится:

— Барин, уйди Христа ради, не стой над душой.

— Как? — кричит управляющий, — работай, холоп, при мне. На вас только и нужен хозяйский глаз.

Не угодишь на барский вкус, — еще больше крику.

— С квартиры прогоню к чорту. В казарму, сукина сына, поселю, да соседа посажу.

А это для мастера большая угроза. В казарме жить хуже, чем в тюрьме. Маленькая каморочка, грязная, закопченная, похожа на тюремную камеру, а живут здесь по две семьи, человек по десять — пятнадцать. Спят на полу вповалку...

— Приказчик, переселить этого в казарму! — кричит управляющий, ткнув палкой в провинившегося шлифовальщика.

На Максима Зубана, лучше которого и мастеров-то не было, все равно орал управляющий.

— Давай, давай, другим пример кажи.

— Сделаем, барин, — угрюмо отвечал Максим, косясь на него.

Чтобы отвязаться от управляющего, мастера «озоровали». Перемигнувшись, они дружной нажимали на шлифовальные колеса и те крутились тише, тише... Слабосильная паровая машина не выдерживала, вставала.

Тогда управляющий зеленел от злости и бежал в паровую распекать машиниста.

— Ушел, — облегченно вздыхали алмазчики и свертывали покурить.

Но отдых длился недолго. Снова фыркал паровичок, и быстрее крутились колеса, снова стоял за спиной грозный управляющий.

Рядом с шлифовальщиками, в боковушке, «травили» посуду плавиковой кислотой. Покрытую тонким слоем воска вазу, с нацарапанным иголкой рисунком, спускали в чан с кислотой, и едкая жидкость вытравливала узоры. От чанов шел тяжелый запах, он полз в алмазный цех и вызывал удушливый кашель. Мастеровые отхаркивались кровью...

Но каково было травильщикам! Их руки, изъеденные кислотой, зияли сплошными язвами. Лица также были в язвах. Люди двигались как тени, обессиленно, тяжело, но смотритель покривал:

— Эй, шелудивые, поворачивайся!

И ради куска хлеба, ради тесного крова работники отдавали последние силы, и все тоньше и тоньше становилась ниточка, на которой держалась жизнь. Дорого вставала людям «гербовая посуда» и проклинали они окаянную выдумку Корсакова.

#### 4

13 декабря 1856 года владимирский губернский предводитель дворянства писал начальнику губернии:

«Милостивый государь, Егор Сергеевич! Хрустальные произведения Гусевского завода г. Мальцова издавна пользовались отличною рекомендациею и известностью как по значительности вырабатываемого хрустала, так и в особенности по искусству и чистоте, с которыми выходят приготовляемые на фабрике вещи.

В настоящем году на заводе этом под особым наблюдением г. Корсакова приготовлено было по моему предложению хрустальное шлифованное блюдо с гербами всех уездов Владимирской губернии, которое в достославный праздник священного коронования их величества я имел счастье поднести ее величеству с фруктами, как образец произведений Владимирской губернии. Ее величество, благосклонно приняв подносимое мною блюдо, соизволила рассматривать изящество работы и удостоила своего одобрения.

Сообщая о настоящем счастливом событии Вашему превосходительству, я вместе с тем покорнейше прошу ходатайства Вашего пред господином Министром Финансов о даровании заводу г. Мальцова права налагать на своих изделиях государственный герб».

Губернатор не замедлил обратиться с ходатайством к министру финансов, и уже через месяц был получен ответ:

«... Я признал справедливым, — писал министр финансов, — предоставить г. тайному советнику Мальцову право употреблять на вывесках и изделиях помянутого завода изображения государственного герба».

Так Иван Сергеевич получил право ставить на своих вывесках и проспектах государственный герб — двухглавого орла.

— Гусь-то, хотя и стеклянный, а высоко летает, — говорили о Мальцове в Петербурге.

Князь Оболенский, наследник стеклянного короля Бахметова, с досады кусал губы. Еще бы, ведь до сих пор только Бахметовы пользовались правом ставить на своих изделиях царские гербы, а тут приходится делить эту честь с Мальцовым. Зато Иван Сергеевич ликовал, — наконец-то Бахметовы были биты!..

# СУЛИЛИ ВОЛЮ, А ДАЛИ ЗЛУЮ ДОЛЮ

## 1

В шестидесятые годы хрустальные изделия мальцовского завода получили еще большую известность. В журналах министерства внутренних дел то и дело сообщали, что «знаменательные его успехи совпадают с современными усовершенствованиями, сделанными в Европе тождественными фабрикациями».

В гуте было уже три стекловарные печи. Лучшую глину для хрусталеварных горшков доставляли меленковские, тульские и новгородские помещики. В корпусах шлифовальни работали две паровые машины.

На заводе было уже 537 человек рабочих. Из них собственно-крепостных работников — 270; мальчиков-приемщиков, детей крепостных, — 84; приписных мастеровых и учеников — 65; мальчиков-приемщиков, детей приписных, — 16; чернорабочих из крестьян, отправляющих оброчную повинность, — 100 и вольнонаемных — 2.

Мальцов ежегодно получал от завода 26—40 тысяч рублей чистой прибыли.

А на шее мастерового все туже и туже затягивался узел. Мастер, художник стекла, чьи руки творили изящные хрустальные вещи, был целиком во власти заводчика. Мастеровой не имел ни своего дома, ни клочка своей земли — ничего. Он не видел даже членов своей семьи; жена работала 16—18 часов на фабрике, а малолетние сыновья с темна и до темна крутились в смрадном чаду гуты. Он обязан был аккуратно, по 14—16 часов в сутки, отбывать трудовую повинность на заводе за 8—10 рублей в месяц, или 33—40 копеек в день. Но и эти жалкие копейки, именуемые заработком, мастеровой оставлял в харчевом хозяйском лабазе, который выстроен был Мальцовым для того, чтобы «мастеровой не ездил на базары за несколько десятков верст и не терял время и заработок».

— Дышать нельзя, — шептались гутенские, — в бараний рог согнул барин.

— Полушки не видим — все на харч уходит, а харч-то гнилой... и того в обрез...

Снова заговаривали о воле.

— Слышать, в Москве на свободу народ распускают, а от нас бумагу царскую прячут.

— Эх, воля бы...

И вот «воля» пришла.

Привезли ее в пакете чиновники из губернского города и передали в господский дом. А через несколько дней объявили о «воле» в церкви Акима и Анны. Поп, облаченный в праздничную ризу, не жалел ни голоса, ни ладана. Господский хор усердно вытягивал «многие лета» самодержцу-«освободителю».

Но кончилось торжество, и снова все пошло по-старому: кре-

стьяне, отправляющие оброчную повинность на заводе, не получили ни единого клочка земли; мастеровые попрежнему оставались в кабале.

## 2

Десять лет прошло с тех пор, как была объявлена «воля». Вотчина Мальцовых пышно и торжественно справляла юбилей освобождения крестьян.

С утра над понурыми домиками слободки разливался малиновый звон церковного колокола. Новый главный управляющий вотчины, Сергей Иванович Шегляев, принимал гостей. К господскому дому, унизанному трехцветными флагами, под звон бубенцов лихо подкатывали тройки. У подъезда гнулись до земли лакеи в желтых, отделанных галунами, ливреях.

В гостиной за длинным столом, заставленным дорогими винами и закусками, захмелевший управляющий читал гостям поздравление из Санкт-Петербурга:

«Поздравляю вас с преуспеяниями и нашего с вами дела. Надеюсь, что наша контора будет не последней в ряду цивилизованной промышленности. Движимая отеческой любовью к земле русской, она еще много сделает для блага России».

Гости, отяжелевшие от наливок, кричали «ура». Кто-то схватил царский портрет и понес его вокруг стола.

Веселье разгоралось, но его чуть было не нарушила вдова Мария Рассиянова. Она с детьми пробралась в коридор первого этажа господского дома. Дети в страхе жались к матери, ухватившись исхудалыми ручонками за подол ее платья.

Это была одна из дворовых, приписанная к гусевской хрустальной фабрике.

Муж Марии Рассияновой, послушавшийся помещика, несколько лет назад был отдан в солдаты, где и умер. Земля осталась у помещика в качестве выкупа за «волю». Хлеб детям она добывала сама двенадцатичасовой работой на бумагопрядильной фабрике. Старший «надсмотрщик над малолетними», прельщенный красотой не по годам рослой дочки вдовы Аннушки и обескураженный неудачей в любви к ней, уволил вдову с дочерью как «неспособных к работе». Забитая, изнуренная нуждой и тяжелым каторжным трудом, ждала она господской милости...

Директор фабрики англичанин Эдж встал из-за стола. Он злобно крикнул на лакея Тришку, коверкая русские слова:

— Это ты, турак, пустиль?

— Она сама, Василь Яковлич, вперлась, уцепилась за косяки и не оторвешь, — оправдывался Тришка, — говорит есть нечего, на фабрику просится.

Директор вынул из кармана монету, повертел ее в руках и бросил под ноги лакея.

— Тай ей и виконь фон!..

Расщедрились и гости. Они тоже бросили «нищей» несколько монет.

А в это время в верхнем этаже господского дома, в кабинете, господин Шегляев обрабатывал доверенного разорившегося соседа — помещика Рамейкова. Решался вопрос о купле крупных торфяных массивов, необходимых для хрустальной фабрики. Доверенный Рамейкова упрямылся. Пятнадцать тысяч рублей, которые давал Шегляев за 45 десятин торфяных залежей, разрабатывать которые хватит на сто с лишним лет, — было мало. Он просил прибавить еще пять тысяч. Шегляев убеждал, выходя из терпения:

— Ну, найдите покупателя побогаче. Иван Сергеевич не настолько богат, чтобы бросаться тысячами.

— О богатстве Ивана Сергеевича нам известно, — возражал доверенный.

Торг затягивался. Доверенный знал, что продать болото больше некому. Но все же не сдавался. У него были свои расчеты. Управляющий понимал его и продолжал убеждать, осторожно подвигая толстый белый пакет к локтю собеседника. Шегляев доказывал невыгодность покупки, охаивал болото. Все ближе и ближе подвигался пакет к локтю собеседника.

Наконец, рамейковский доверенный отвернулся и положил на пакет руку. Шегляев облегченно вздохнул.

— Мир лучше ссоры, — улыбнулся он, глядя как собеседник прячет пакет в карман полуподдевки.

Доверенный выпрямился, протянул господину Шегляеву руку.

— У деловых людей всегда есть общий язык.

Доверенному нетерпелось узнать о сумме, но в пакет заглядывать было неудобно и он прямо спросил:

— Сколько?

— Две, — ответил управляющий.

— Не маловато?

— Больше не могу.

Позже Шегляев показывал гостям завод. «Преуспевания» были большие... На месте старой деревянной шлифовальни стояла уже кирпичная, строилась еще прикладка; в когда-то бывшей деревянной шлифовальне сейчас разместилась столярная мастерская и формовочная. Выстроена новая кирпичная гута. От старой полудеревянной — валялись лишь обгорелые столбы. Кто сжег гуту, — об этом говорили втихомолку. Рассказывали, что сожгли ее с ведома хозяина, за это он получил большие тысячи страховки, а поджигальщиков щедро наградил. Но управляющий молчал об этом.

Неподалеку от господского дома строились новые корпуса бумагопрядильной фабрики на тридцать тысяч веретен. Спешно отстраивался целый ряд «хозяйских» домов — половинок. Главная контора ожидала наплыва новой армии мастеровых, бездомных и безземельных.

А на заводском дворе гуты, что против господского дома,

сплошь захламленном отбросами, отдувая скрюченные пальцы рук, в очереди за вином стояли мастеровые. Они тоже «праздновали». «Раздавай» около бочки стоял один из гутенских задатчиков. Он наливал водку, а рядом в протянутую руку мастерового совали кусок хлеба и селедочный хвост. Задатчик не жалел хозяйского; за выпитый в торжественный праздник стакан водки он завтра всучит мастеру работу по сниженной цене.

Мастеровые гуляли. А дома, в грязных каморках, ждали жены и дети, согнанные холодом на артельную, такую же грязную, как и квартира, кухню.

### 3

Каторга оставалась каторгой. Выброшенные из своих хибарок мастеровые попали в такую зависимость к помещику, которая была в десять раз хуже крепостной. Раньше у людей хоть угол свой был, было куда голову приклонить, а сейчас — случись что-нибудь, не угодил на барина, — и на улицу вытряхнут.

Среди жителей рос глухой ропот. И частенько за шлагбаумом, там, где густой сосновый лес мог спрятать людей от холуйского глаза обходных, собирались старики и молодые покалякать о своей горькой жизни.

— Сулили волю, а получили злую долю. Оправиться негде. Какая была усадьба и ту хозяин забрал, — начинал кто-нибудь из стариков.

— Горькому Кузьке везде горькая песенка, — поддакивали ему.

— Вот-те и свобода, как осенняя ненастная погода, радуйся и разживайся как знаешь...

— Надо оседлость просить, законом нам положено иметь свою землю и свою халупу, — убеждал алмазчик Максим Зубанов. — А без оседлости нас обдерут как липку. Куда подашься, — фатера хозяйская, лавки — хозяйские и мы хуже крепостных. По закону это или не по закону?..

— По закону... А кто его знает, как он обернется? — говорил старик Родион Богданов. — У них закон, что хрусталь горячий, — что хошь из него выдуть могут...

— Вот что, ребята, собраться надо в тайном месте, подалее от глаз приказчиков, да и обсудить, как делу быть. Надо просить, чтоб свои дома разрешили строить.

— Где же собраться? Везде управительский глаз.

— Тут же в лесу и соберемся, только миром надо за дело браться. На миру, говорят, и смерть красна.

— Петра Афанасьевича пригласить. Этот поможет, свой человек. За хлопоты и заплатить можно.

... Петр Афанасьевич Кудрявцев, хозяйский лесничий, жил на Куняшевской площади, в большом доме с резными наличниками и ставнями, с парадным подъездом и лавочкой о двух растворах. Отец его происходил тоже из дарственных крестьян, но «выбил-



ся» в люди, был вхож в господский дом и сразу стал на виду у владельца завода. За «особо питаемую любовь к господскому дому» Афанасия сделали старшим задатчиком гуты, а сына Петра, как грамотея, — приказчиком над лесами.

Петр в отличие от своего отца не гнушался встреч с мастера-выми. Он знал время, когда с ними дело иметь выгодно.

Однажды во время объезда лесов Петр Кудрявцев, как бы невзначай, повстречал группу мастеровых. Они сидели на полянке. Перед ними стоял штоф вина. Лесничий спрыгнул с лошади, подошел к кучке беседующих и с намеком спросил:

— О чем, землячки, толкуете?

Максим Зубанов разлил водку и самый первый стакан поднес Кудрявцеву.

— О мастерстве, Петр Афанасьевич, калякаем. Выпей за наше здоровье.

Лесничий выпил и, захмелев, стал хвастать:

— Я вам все в лучшем виде оборудую. У меня и в Петербурге рука есть.

— Давай похлопочи, Афанасьич. За подарками не стоим.

— Да что вас разорять. Целковых пятьдесят для начала соберете?

— Куда ни шло, — согласились мастеравые, — только бы толк был.

#### 4

В канцелярии губернатора и «губернского по крестьянским делам присутствия» шла усиленная переписка:

«Земский начальник Меленковского уезда доносит, что на месте он добыл относительно мастеровых следующие сведения.

Как видно из ревизских сказок 1856 года 15 февраля посессионные крестьяне приписаны к заводу без платежа за оных в казну. Жили они в Гусе в заводских домах, но около 50 семейств имели свои избы. Имеются списки, относящиеся к 1872 году, где против фамилий сделаны отметки об отобрании огородов. Гусевские рабочие не составляли общество. Теперь приписаны к волостям, как безземельные и живущие в домах Мальцова.

Кроме священников, в Гусе никто не имеет собственной земли. По словам ходатая Кудрявцева рабочие на мировую не идут, требуют возврата усадеб»...

В присутствии бумага застряла. Потом кто-то додумался наложить на прошение мастеровых резолюцию, туманную и бес-толковую:

«Сделать предложение рабочим о том, не желают ли они купить казенные земли с пособием и льготами согласно указа от 24 мая 1863 года за № 9. Если желают, то в каких губерниях».

Но мастера просили сохранить им свои (еще оставшиеся неразоренными) домишки и свою усадьбу. На это они имели полное право. Их предков незаконно причислили к дворовым из вольнонаемных.

Жалоба мастеровых пошла к мировому посреднику и наконец к министру внутренних дел...

А тем временем в главной конторе сменился управляющий. Шегляев неожиданно переехал в Москву, во вторую резиденцию Мальцова. На место его прибыл новый управляющий — Михаил Михайлович Гайдуков. Но и смена управляющих не подвинула дела.

Узнав, что мастера посягают на землю, главная контора ошетичилась.

Лакей Тришка сзывал в господский дом мастеровых по особому списку. Приглашения удостоились Петр Калмыков, Григорий Велюхов и еще несколько человек.

Новый управляющий встретил их с приветливым добродушием. Разговор был короткий: прошение на высочайшее имя, в котором говорилось, что мастера живут-де хорошо и от оседлости отказываются, было подписано сразу. Подписавшимся было выдано вознаграждение по пяти рублей.

А гутенщики сносили последние гроши своему доверенному. Семья голодала. Петр Кудрявцев разъезжал хлопотать то в Москву, то в Санкт-Петербург.

5

В дом лесничего явился обходный и вручил телеграмму. Господин Шегляев проездом из Москвы через несколько дней будет в губернском городе. Лесничего просили прибыть в номера губернской гостиницы для переговоров...

— А, Петр Афанасьевич! Как поседел ты, братец мой. — Управляющий панибратски подхватил лесничего под руку и сам отворил дверь в номер.

— Ну, как с лесами? Прошу садиться, — и он сам усадил гостя.

Кудрявцев смущенно мям в руках мохнатую шапку. Управляющий подсел к нему поближе.

— Слыхал я, Петр Афанасьевич, что мастера в суд подали. Правильно ли это?

— Правда. Сами знаете, Сергей Иванович, мастерам жить трудно. На своей земле, в своем домишке хоть душу отведут.

Шегляев откинулся к спинке стула и прямо заявил:

— Напрасно расходуются мастера. И сам ты, Петр Афанасьевич, прожился. Хочешь на мировую?!

Он встал, вынул из чемодана белый мешочек и высыпал содержимое на середину стола, а рядом положил бумагу.

— Вот! Всему твоему роду не прожить. Только подпишись, что мастера отказываются от своих требований.

Лесничий встал. Он смотрел то на бумагу, то на золотые. Ему казалось, что он уже не лесничий, а владелец стекольного завода. Несколько мастеровых в его собственной гуте делают прекрасные вещи, которые будут конкурировать с мальцовскими изделиями.

Кудрявцев подписал...

Но едва он протянул руку за деньгами, как в комнате раздался треск, об стену ударился стул, и цепкая рука, сильно схватив гостя за шиворот, выбросила его в коридор.

На шум сбежалась прислуга. Из полуоткрытой двери номера неслись крики:

— Мерзавец.

Швейцар выкинул поддевку лесничего за дверь и, толкнув в спину, пробурчал:

— В гроб смотрит, а туда же грабить лезет. Квартального крикнуть.

## 6

Дело мастеровых было проиграно. Родиона Богданова уволили с завода. Рассчитали и Максима Зубанова. Выгнали с завода всех многосемейных.

К управляющему потянулись жены и дети уволенных. Плакали, ползали на коленях, просили взять кормильцев обратно.

— Когда ваши мужья поумнеют, тогда и возьму, — отвечал Гайдуков.

Днем и ночью, освещенная зловещими огнями, пасть гуты спокойно принимала мастеровых. Как будто ничего не случилось. Только за шлагбаумом, да на задворках постоянного двора, что стоял вдали от господского дома, все чаще и чаще собирались жители слободки. Сговаривались помочь безработным семьям, ругали и проклинали владельца, вполголоса грозили расправой управляющему, собирались искать защиты у царя.

Однажды ночью к дому лесничего подъехало несколько пар заводских кандалов<sup>1</sup>.

Заводские грузчики пожарными крючками и топорами в один миг содрали резные наличники, взломали дверь. Дом затрепал.

Двое бородатых мужиков уже тащили на улицу мечущуюся хозяйку дома. Из выбитых окон летело добро, нажитое годами. Кто-то сорвал с крючка и выбросил детскую зыбку.

Утром мастеровые подобрали на дворе замерзшего ребенка, а вместо дома лесничего торчали лишь одинокие столбы. Дом был снесен в одну ночь... А потом грузчики подступили к домишкам мастеровых. Снесено 50 последних насиженных гнезд.

Через несколько дней писака из «Владимирских губернских ведомостей» склонял во всех падежах «заботу» владельца об устройстве быта мастеровых, сообщая, что «опытный доверен-

<sup>1</sup> Кандалы — двухколесная тележка, употребляемая при перевозке бревен.

ный г. Гайдуков, которому вверено управление как заводами г. Мальцова, так и вотчиной его, на месте добровольно проданных мастеровыми домиков спешно предпринимает строительство новых квартир для благоустройства быта своих рабочих».

## НОВЫЙ ХОЗЯИН

### 1

В 1880 году в Гусь из Петербурга пришла телеграмма. Принесли ее ночью.

В барском доме зажглись огни, забегали люди. В соседние имения поскакали курьеры, а на утро стало известно:

— Умер хозяин.

Иван Сергеевич Мальцов, тайный советник и кавалер, друг министров, генерал, владелец десятка заводов и фабрик, — скончался.

Прямых наследников у него не было, и Гусь-Хрустальный перешел к новому хозяину, дальнему родственнику Ивана Мальцова, сыну прокурора святейшего синода — Юрию Степановичу Нечаеву. И слободка потомственных художников стекла стала именоваться:

«Гусевская хрустальная фабрика обер-гофмейстера высочайшего двора Юрия Степановича Нечаева — Мальцова».

### 2

Стояло знойное лето. Гусь готовился к встрече «наследника»...

В цехах хрустальной и бумагопрядильной фабрик канцеляристы расхваливали нового хозяина.

Дети под командой отставного унтера Андрея Калмыкова по прозвищу «Чистота», за день до приезда барина, спешно устилали дорогу еловыми ветками. А в «достолавный» день, рано поутру, к сельцу Бабино, через которое должна проследовать карета нового хозяина, погнали отряд мастеровых и их жен.

Бабино еще не видало таких церемоний. Под окнами пятистенного дома старосты, на густой траве, выстроился в полукруг хор господских певчих. Дозорные с крыши следили за дорогой. И, наконец, раздался крик:

— Барин едет!

Толпа зашевелилась, зашумела, и люди, сбивая друг друга, беспорядочно бежали к околице. Из-под бугорка поднялась колна густой серой пыли. Все слышнее и слышнее становился звон бубенчиков.

Тройка взмыленных коней врезалась в толпу. Впереди нее, расчищая путь, мчались два егеря.

— Сторонись!

Из окна крытой кареты выглянула бритая голова.

— Барин! — закричали в толпе.

Барин пожевал толстыми, как ошметки, губами и осоловелым взглядом обвел толпу.

— Мои? — спросил он.

— Ваши-с.

Хозяина встречали селимовский поп и приказчики. Приняв от них «хлеб-соль», Нечаев проследовал в избу старосты — отдохнуть. Через час он снова уселся в карету. Но коней уже не запрягали. Их вычистили до блеска и вели под уздцы.

В карету были впряжены мастеровые.

— Покажите барину свою преданность, — уговаривали приказчики.

— Значит заместо скотины нас почитают? — обронил кто-то из рабочих.

— Но, но... Поговори, завтра с завода вылетишь, — пригрозил управляющий...

И вот люди впряглись. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее карета катилась за околицу. Подогретые «уркой», мастеровые сначала приняли это как веселую комедию. Но хмель прошел быстро. Они захлебывались дорожной песчаной пылью и обливались грязным потом. Натянутые веревки глубоко врезались в голые плечи. На ходу к дрожащим губам мастеровых подносили жбаны с водой, и они, облизывая потрескавшиеся губы, утоляли жажду...

Карета с новым хозяином медленно въезжала в поселок. В толпе встречающих раздавался приглушенный ропот:

— Привезли наследника...

— До завода не доехал, а уж на шею сел.

### 3

Обер-гофмейстер высочайшего двора, — высокий, с продолговатой как редька головой, губастый, с оловянным тусклым взглядом не нравился мастеровым.

Мастеровые надолго запомнили позорную процессию, унижившую их человеческое достоинство, и не могли забыть этого.

Хозяин понял это и старался обращаться с ними осторожно. С мастеровыми заигрывал и показывал себя милостивцем.

Когда к нему являлись с жалобой на кого-нибудь из начальников вотчины, Нечаев старался покрепче «разнести» виновного прямо на глазах у жалобщиков.

— Идите, ребяташки. Я разберусь в вашей жалобе и накажу виновника, — успокаивал он просителей.

Напускной либерализм нового хозяина создал у рабочих ложное представление об эксплуататоре. Они думали, что виновниками всех бед являются доверенные хозяина, которые не хотят выполнять его намерения.

На другой день приезда в вотчину управляющий Гайдуков водил нового хозяина по заводу...

Хозяин шел по шлифовальне, выкидывая вперед длинные неуклюжие ноги. В узких дверях алмазного цеха с хозяином столкнулись двое мастеровых. Они несли в руках ящик, наполненный сахарницами, спеша доставить их к рабочему месту. Не ожидая такой встречи, они не скоро сообразили, что делать. Это были молодые рабочие, впервые пришедшие из деревни, они не поклонились хозяину, как кланялись все остальные, и не посторонились. Но у кого-то из них ослабла рука, ручка выскользнула, ящик упал. Сахарницы белыми искорками разлетелись по асфальтовому черному полу.

Управляющий топал ногами, осыпал провинившихся крепкой бранью.

Хозяин не вытерпел, у него дернулась нижняя отвисшая губа. Торопливым шагом он поспешил к месту происшествия. Незаметно отстранив управляющего, Юрий Нечаев визгливо нагнал страх на рабочих. Он то грозил высечь, то — уволить с завода, то сожалел о разбитом хрустале, фантазируя о громадных убытках, причиненных заводу.

Перепуганные мастеровые виновато молчали.

— Ладно, прощаю. Благодарите Михаил Михалыча, он говорит, что вы надежды подаете и исправляться умеете. А повторяется, — тогда не взыщите, — а потом, обратившись к управляющему сказал: — Вычтите с них стоимость разбитого хрусталя!

И сунул мастеровым по пятиалтынному.

А в столовой господского дома Нечаев-Мальцов поучал своих доверенных:

— Времена пошли теперь другие. Шутить с народом, как было при покойном дяде, нельзя. Поменьше кричите, не озлобляйте, а в руках держите. У нас много других средств, чтобы заставить повиноваться. Главное, вожжи держите крепче, а взнуздать всегда сумеем.

Рассказывают о Нечаеве и другое.

— Над копейкой, как Иуда, дрожал. Весь век в заштопанных носках ходил. А если и приходилось ему давать мастеровым алтыны, так это для видимости, чтобы рабочие не думали о нем плохо... Даст алтын, а за это получит полтину. Однажды Нечаев-Мальцов, проездом в Гусь, остановился в деревне. Ему захотелось пить. Камердинер у одной крестьянки стакан молока попросил. Нечаев вынул серебряный гривенник и сунул в руку крестьянки. А та и говорит ему: «Ты, батюшка, дал гривенник, а когда проезжал Сергей Иваныч, он по рублю платил». Нечаев затряс нижней губой да как закричит на крестьянку: «Я тебе дал свой гривенник, а Сергей Иваныч у меня ворует»...

После утомительной поездки в свои владения Юрий Степанович отдыхал в Петербурге. Он припоминал мастеровых — до-

бродушных стариков и подозрительно бойких молодых — и думал, как бы их покрепче обратить.

Он строил новые планы на будущее и в кругу великих князей не двусмысленно говорил:

— Скоро вся Россия зазвенит мальцовским хрусталем.

Ню вдруг нарочный принес тревожную весть: «взбунтовались фабричные».

В январские дни 1881 года ткачи гусевской фабрики остановили станки. Озлобленные штрафами, шестнадцатичасовым каторжным трудом и принудительной работой в предпраздничные дни, рабочие вышли на фабричный двор. За ткачами последовали и прядильщики.

Директора Эджа потребовали объясниться. Но он отказался разговаривать и спрятался на чердаке фабрики.

Рабочие подступили к директорскому дому и разгромили его. В фабричных корпусах выбили стекла.

Нечаев прислал управляющему деловую записку: «Никаких уступок не допускать. Зачинщиков бунта, чтоб не повадно другим было, уволить и выдать властям. Семейства из квартир выселить и лишить продовольствия».

«Бунт» уладили в два дня: рабочие тогда еще не имели ни организаторов, ни политических руководителей.

«Зачинщиков» выслали в Вятскую губернию, а ткачи и прядильщики, подгоняемые голодом и нуждой, вынуждены были встать за станки и машины.

Наступил глухой 1882 российский год...

По Европе ударил жесточайший экономический кризис. Капиталистический способ производства неизбежно приводил к перепроизводству товаров, к страшному несоответствию между выпуском продукции и ее потреблением.

Недавняя война с Турцией до крайности расшатала государственные финансы российской империи и ослабила покупательную способность ее населения. Крестьянина душили податями и налогами. Он бросал деревню и шел в город, на заработки.

Избыток рабочей силы дал возможность российскому промышленнику уменьшить заработную плату рабочему и снизить продажную стоимость продукции. Но покупателя все равно не было. Мальцовский хрусталь залеживался на складах.

Нечаев вызвал в Санкт-Петербург своего доверенного.

Через несколько дней в вотчинной церкви Акима и Анны управляющий отслужил торжественный молебен. Местный священник, у которого земли было больше, чем у всех мастеровых вместе взятых, при «большом скоплении православных» произнес «горячую проповедь». Говорил он о «постигшем за грехи бедствии народном», призывал к терпению и повиновению и провозгласил «упование на благодетеля, Юрия Степановича».

А после этого мастеровым и фабричным объявили о снижении заработной платы. Главная контора во избежание убытков прекратила прием на работу взрослых и объявила широкое

«фабричное обучение» детей. В гуту и шлифовальню брали восьми-девятилетних сыновей, на бумагопрядильную — девочек. К концу года «в заведениях господина Нечаева-Мальцова» насчитывалось уже 524 человека малолетних, больше чем на всех других фабриках губернии. Но главная контора тщательно «старалась скрыть настоящее число малолетних», и приведенная выше цифра едва ли соответствует действительности.

В фабричной лавке «подравняли» цены на продукты. Существовавшие в 1883 году цены на продовольствие выглядели так:

|                        | На заводе  | Во Владимире |
|------------------------|------------|--------------|
| Мука ржаная пуд . . .  | 1 р. 30 к. | 1 р. 5 к.    |
| Пшено мера . . . . .   | 2 р. 70 к. | 2 р.         |
| Соль фунт . . . . .    | 2 к.       | 1,5 к.       |
| Керосин фунт . . . . . | 10 к.      | 5 к.         |
| Сахар фунт . . . . .   | 35 к.      | 24 к.        |

Нищенского заработка нехватало даже на продукты, и мастеровой ежемесячно оставался в долгу у главной конторы.

Так на горбу у мастеровых и фабричных хрустальный король выходил из кризиса.

Нечаев уже безвыездно жил в Санкт-Петербурге. Связи его при дворе росли. Он личный друг императора Александра III. Его возвели в чин обер-гофмейстера, ему доверили придворную канцелярию, кассу и присмотр за владениями великих князей.

Первый блестяще выполненный заказ императрицы — чудесные хрустальные колонны для трона в дворянском Санкт-Петербургском приюте — еще более упрочил его положение. В гостиных и покоях царского дворца стояли громадные вазы из дорогого свинцового мальцовского хрусталя. Царская семья обедала из нечаевских сервизов. Великие князья носили папиросы в нечаевских хрустальных портсигарах. В московских и петербургских церквях, российских монастырях и в Киево-Печерской лавре переливались разноцветной радугой нечаевские люстры и паникадилы.

Мальцовский хрусталь звенел на всю Россию.

В 1895 году Нечаев уже имел торговые представительства в Харькове, Одессе, Варшаве, Екатеринодаре, Тифлисе, Ташкенте. Он щедро бросает крупные суммы на дворцовые обеды, банкеты и рауты, извлекая из этого нужные подписи под соответствующие привилегированные заказы. В честь Эмира Бухарского Юрий Степанович устраивает в Санкт-Петербурге роскошный раут и дарит ему свой личный хрустальный сервиз. За это Эмир дает ему неограниченное право вывоза своих изделий в бухарское ханство. Расширяется рынок и в Персии...

Он вступает в сделку с крупным акционерным обществом по строительству железных дорог. От Владимира до Гусь-Хру-



стального проводится узкоколейная линия, обеспечивая главный хрустальный завод дешевым транспортом.

Дело Нечаева-Мальцова росло. Было ясно: на смену «тайному советнику и кавалеру», помещику-крепостнику, пришел настоящий капиталист, не менее алчный, но более изощренный в средствах наживы.

## БЕЗЫМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ

### 1

С воскресенья на понедельник гута начинала работать затемно. В углу возле конторки металась «задатчики», распределявшие работу среди мастеров.

Обычно на эту должность главная контора подбирала кляузных людишек, чем-нибудь отличавшихся перед управляющим. Рабочие ненавидели их, за глаза обзывали всякими ругательствами, давали бранные клички, но в глаза многие заискивали перед ними, ибо от расположения задатчика зависели заработки стеклодувов...

Рыжий, с гусиной шеей Лука Хапугин (так прозвали его за взятки) бойко раздавал работу мастерам.

— Тебе рюмки ликерные... По две копейки за штуку.

— Ивану Смирнову цветные лампадки. Четыре копейки за штуку...

— Лука Александрыч, никак маловато. Весною делали по пять копеек за штуку, а нынче что-то тово... Почитай за лампадкой часок-другой пролетит, — возражал Смирнов.

Хапугин, вытянув гусиную шею к стеклодуву и вертя рыжей бородашкой, козлиным голоском тянул:

— То была весна, солнцем красна, а сейчас зима на дворе. Или отдохнуть захотел?

Стеклодув молча соглашался и уходил на подмости. Возражай не возражай, а по рабочему не будет. Мастеровой знал, что зиму он будет «работать на одни лапти».

— А Николай Семенов Калашников по особому фасону цветник будет делать.

Хапугин посмотрел на недоумевающего Николая и крикнул:

— Ну, что стоишь?!. Цену у барина скажут!..

У откальных печей толпятся «захворые» (запасные).

Это взрослые парни, прошедшие суровую школу «хлопцев», мастера, умеющие владеть трубкой стеклодува. Но для них нет работы, нет свободных рабочих мест, и они ходят по году, по два, не получая постоянной работы, а выжидая «счастливый» день, когда кого-нибудь из коренных мастеров или их помощников вынесут из цеха на носилках. Тогда какой-нибудь «счастливец» два-три дня работает на станке. Они приходят в цех ежедневно, — днем, ночью и в полночь, — толкуются по 18 часов в сутки, не получая за это ни копейки.

— Лука Александрыч, нет ли работки, — тянет чей-нибудь робкий голос.

Хапугин, вздернув бороденку, проходит мимо и не обращая внимания на просящего, кричит куда-то в пространство:

— Дураки сегодня не в почете!

Но вот кто-то не вышел на работу, кого-то пронесли двое мастеровых на носилках; среди «захворых» проносится шопот: «захворали», и к запасным является все тот же Лука Хапугин.

— Пляшите, оболтусы! — кричит он.

«Захворые» обступают задатчика, каждому хочется «зашибить».

— Меня, Лука Александрыч.

— Я уже месяц никуда не ходил.

— Жеребий, жеребий тянуть! Без обиды!

А задатчик молчаливо оглядывал лица «захворых». У него свой порядок, свой закон. Он прищуривает левый глаз и вспоминает, кто из них и сколько раз приглашал в гости, сколько раз угощал водкой.

— Митька! — наконец произносит он, — церемониальным маршем на восьмой горшок!

«Захворый», убегая к печи, кричит:

— Спасибо, Лука Александрыч!

Рабочая неделя началась. Через два часа в гуту входит заведующий, Иван Гитчин. Заложив руки за спину, он идет медленной и важной походкой, какая бывает у человека, которому открыты все сокровенные пути.

Пахнет тошнотворной гарью, откуда-то доносится звон стекла. Гитчин презрительно морщится и, сощурив глаза, всматривается в каждый уголок цеха. На минуту он задерживается у большого инструментального ящика и подзывает пальцем задатчика.

Хапугин, следивший за движениями заведующего, рассыпается перед ним «мелким бесом». Гитчин злится, от злобы у него на шее вздулись синие жилы, и он яростно тычет пальцем в инструментальный ящик.

А там, свернувшись калачиком, спали красные, разомлевшие от жары «хлопцы».

— Виноват-с... не доглядел-с... — оправдывается задатчик и тут же смекает: — Я сейчас, минтом подниму...

И задатчик уже тряс редкой, как вытертая мочалка, рыжей бороденкой, неся в руке ведро, наполненное холодной водой.

— Я вам покажу, как спать во время работы!

На подмостках около печи мечутся мастера, — голые, потные, грязные. Над головами людей взлетают огненные «баночки» и «пульки» стекла. Они то кружатся на одном месте, то раскачиваются по горизонтальной прямой, то несутся вниз по диагонали и падают, как звезды на темном склоне ночного неба.

Красный комочек расплавленного стекла превращался в руках опытного мастера в вазу, в сахарницу, цветник, «ковчег».

Силами чахоточных легких гутари выдували мудрые, чуть ли не одухотворенные вещи, которые потом, побывав в руках художников-шлифовальщиков, выполняли свою роль на банкетах, пиршествах, на выставках, набивая нечаевский карман золотом и славой.

От верстака к откальным печам и обратно снуют бойкие «хлопцы». На кончиках железных прутьев — «хватков» они несут сделанные мастерами стаканы, рюмки и т. д. В откальной печи эти вещи станут более крепкими и прочными. «Хлопцы» не идут, а бегут. Но мастера все еще подхлестывают:

— Семени, семени!

Гитчин зорко следит за работой лучшего стеклодува Николая Калашникова. Стеклодув хмуро «не замечает» заведующего гутой. Ему понятно внимание ученого немца, наблюдение которого не пройдет бесследно для рабочего кармана.

Трое помощников, вцепившись в трубку, медленно повертывают четырехпудовый огненный шар стекла. Николай дует, от натуги багровеет лицо, вздуваются вены на шее, затрудняется дыхание. Он отрывает губы от трубки, мелкими глотками хватается воздух и снова дует. Но стекло уже остыло, и Николай хрипло кричит:

— Подогрей!

Помощники тащат шар, суют его в пекло печи, где пламенеет газ, и, обжигая руки, поворачивают его то одной, то другой стороной и снова несут к станку, где стоит стеклодув.

Гитчин морщится, смотрит на часы и, презрительно поджав губы, брюзжит:

— Азиатчина!.. Работать не умеете!..

Рядом мечется на подмостках Григорий Богданов. Горшковая печь дышит на него раскаленным стеклом и пламенеющими газами. Жарко. От невыносимо нагретого воздуха ломит кости, по грязному обнаженному торсу струятся потоки обильного пота. Но нечем защититься от жары, «техника безопасности» хрустального короля проста и несложна: побольше пота.

Григорий машинально закидывает назад сбившийся на лоб клок слипшихся от пота волос и бросается к передку печи, чтобы набрать на трубку новую порцию вязкой огневой стекломассы. Но руки дрожат от усталости. Одно неловкое движение, и стеклодув падает на подмости.

В сочувственных позах застыли мастера, бросившие работу. Горячий оскредок хрусталя попал мастеру в левый глаз... После, в больнице, Григорий Богданов ослеп совсем. Семья лучшего мастера пошла кормиться «христовым именем».

А сколько еще мастеров кончали свой жизненный путь подобно Григорию Богданову? Счету нет.

Гута хоронила все лучшие мечты стеклодува, его чаяния, надежды и стремления. Но люди все же шли туда, шли потому, что некуда больше было идти и негде было заработать кусок хлеба.

Армия гутарей пополнялась из неграмотных и забитых жизнью детей. А таких было много, ибо грамотность населения «планировал» «сам барин». В единственное двухклассное училище принимали исключительно детей приказчиков и отличившихся мастеровых. Остальные дети, если в школе оставались места, пропускались через жеребьевку. Еще труднее было мастерскому определить своего сына в так называемое «маальцовское ремесленное училище» во Владимире.

Старый стеклодув Калмыков до сих пор помнит хозяйские «заботы». Он рассказывает:

«Сам я неграмотным был, потому что негде было учиться. Но сына хотел выучить. В школе он у меня учился хорошо и я подумал: «Дай парня в ремесленное определю». Пошел к управляющему и говорю: «Примите сына в ремесленное». «Нельзя» А ведь вот у Давыдова взяли же, — не отставал я. «Пошел прочь. Говорят тебе — нельзя. У рабочих не берем». Что делать? Пошел к старшему учителю Дмитрию Сергеевичу. «Сына, говорю, учиться хочу определить». «Он у тебя не годится, туповат» — отвечал Дмитрий Сергеевич. А младший учитель, у которого сынишка учился, после мне сказал по секрету: «Врет он, у сына твоего большие способности». Но в училище так и не приняли...

— Неграмотный сговорчивее, — с ним легче дело иметь, — часто поучал управляющий.

Неудивительно поэтому, что к 1894 году во владениях «культурного» и «образованнейшего» хрустального короля на каждые десять детей в возрасте от восьми до пятнадцати лет приходилось грамотных только один человек. И дети обречены были идти по пути своих отцов — в гуту...

## 2

Заводоуправление получило из столицы депешу: «хозяин строго приказывал без промедления начать подготовку к всемирной выставке в Чикаго, для чего «наперед сварить лучший свинцовый хрусталь и из него изготовить благородные изделия, кои могли бы заслужить внимание просвещенных людей мира»...

Шлифовальщикам предстояло показать все свое искусство прирожденных художников.

Василий Кравцев, заведующий алмазным цехом, за последнее время был удивительно ласков с мастерами. Он знал — от их работы зависит успех хозяина в Чикаго.

Мастера алмазного цеха делали славу. Это был дружный, хороший народ. Неграмотные, невидавшие ничего, кроме своего поселка, они создавали произведения искусства, на которые потом приезжали смотреть из Америки, Франции, Бельгии и Италии.

Искусство алмазной грани открыл в XV веке Луи фон-

Бергем. Венецианские шлифовальщики развили это искусство, но крепостные, дворовые, приписные, купленные гусевские мастера превзошли венецианцев.

Посуда, вышедшая из шлифовальных цехов гусевского завода, была украшением аристократических гостиных и будуаров. Еще Пушкин, описывая кабинет Онегина, говорил:

Янтарь на трубках Цареграда,  
Фарфор и бронза на столе,  
И, чувств изнеженных отрада,  
Духи в граненом хрустале...

Флаконы для духов, бокалы, вазы, кальяны, прекрасные, переливающие всеми цветами радуги, покрытые тонкой узорной резьбой, делались в этих низких полутемных корпусах гусевской шлифовальни безыменными мастерами-художниками.

Искусство алмазной грани переходило от отца к сыну, совершенствуясь и вырастая в подлинное искусство. Так, крепостной Максим Зубан, выучившийся шлифовальному делу, обучил этому и сына своего, Петра, который уже был настоящим художником.

Он открыл узор «светлорастений», перенес на хрусталь могучую красоту природы. Он видел, как зимой на окне в виде причудливых цветов и трав застывал узор инея. Вот эту фантастику и переносил Петр Максимов на хрусталь. И когда, полный творческого вдохновения, он отрывистыми движениями прижимал хрустальный цветник к каменному колесу, — на цветнике возникали нежные завивающиеся лепестки цветка и узкие листья трав.

Шлифовальщики гордились им.

— Положи возле него цветок — он его на вазе вырежет и как живой будет, — говорили они, — а ежели хочешь, портрет на хрусталь переведет.

Петр Максимов был не одинок. Калмыковы, Богдановы, Гусевы, Опыхтины — целые семьи художников работали на заводе.

Но это были безыменные, безвестные мастера. Никто из тех, чей взор восхищали чудесные вазы, отделанные гусевскими алмазчиками, не задумывались над именем художника. Для них это был — мальцовский хрусталь. Мастера не подписывали своих искусных работ, — за них подписывался «обер-гофмейстер высочайшего двора»...

... Шлифовальня стояла на берегу озера. Подслеповатые окна глядели в зеркало ясной воды. Гутари и «хлопцы» сносили сюда из гуты грубую неотделанную посуду, чтобы придать ей изящество и блеск.

Еще с субботы мастерам было сказано:

— В понедельник, благословясь, начнем...

С понедельника начиналась выставочная работа. С шести

часов потянулись шлифовальщики. У входа в конторку сидел Василий Кравцев, отмечал проходивших и время от времени приглашал: «зайди-ка». Голос у него был сегодня на редкость сладко-приторный, игривый, будто подчеркивающий душевное его расположение к мастерам.

Василий Кравцев был неграмотный, но верный служака господского дома. Он получил власть над мастеравыми за подхалимские «особо выдающиеся заслуги». Он умел снизить расценки и выжать из мастерового лишней рубль прибыли, подобрать «своих людей» и через них узнавать тайны и думы мастеров. Он имел право уволить, «распечь», а непокорного бить длинной, как плеть, рукой. Он оценивал работу мастера, хотя в искусстве алмазной грани понимал меньше, чем любой ученик, которому приходилось познавать мастерство бесплатно, стоя на одной ноге у станка своего мастера.

— Зайди-ка, — позвал он Петра Максимова.

Тот зашел, насупившись, хмурый.

— Болит? — спросил Кравцев, намекая на то, что вчера мастер «заложил», и нынче, с похмелья, голова не в порядке.

— Трещит, — сознался Петр Максимов.

— Выпей вот, — Кравцев деловито налил прямо из четвертной. — Только мотри работой как следует. Разбейся, а факсон покажи. Это тебе не макарьевская ярмарка, а Чикаго, Америка.

— Знамо дело.

— Ну, валяй, не прохлаждайся.

Через несколько минут шлифовальня начала работу. Раздался оглушительный визг и скрежет. Вдоль длинного низкого корпуса в два ряда протянулись верстаки. Над верстаками крутятся каменные, наждачные колеса разных форм и размеров. Это «кисти» художников-алмазчиков.

Мастеровые сидят у колес, плечо к плечу. В руках — посуда. Прикосновение стекла к наждачному колесу рождает истошный визг, но оно же рождает и чудесную, нежную линию, будущий рисунок.

Большинство мастеров — в очках. Это профессиональная болезнь, рождаемая тусклыми керосиновыми гасиками, висящими над колесами. К 45 годам алмазчики теряли зрение. Хозяин не особенно заботился о них — ослепнет отец, на смену ему придет сын. Только знаменитых художников «берегли».

Так было с Петром Максимовым. Его задумал сманить к себе Оболенский. Он давал ему чуть не вдвое больший оклад жалования, но связанный семьей, Петр Максимов не хотел уезжать из Гуся. Тогда Оболенский предложил своим приказчикам на пасху пригласить Петра в гости и подпоить. Простодушный алмазчик принял предложение и «загулял». Полторы недели его поили водкой. А когда узнали, что в Гусе его уволили за прогул, «гостеванье» немедленно кончилось. Протрезвевшему мастеру сообщили:

— В Гусе тебя, брат, прогнали. Хочешь, оставайся у нас.

— Меня прогнали? — не поверил Петр Максимов.

— Вот, — ему показали официальное уведомление.

Оскорбленный алмазчик остался у Оболенского. Но отсутствие Петра Максимова сразу почувствовали на гусевском заводе. Это был лучший мастер. Его снова вернули в Гусь. Дело опять-таки не обошлось без водки...

Так «берегли» хозяева кадры...

Петр Максимов сидит за верстаком, зарабатывая барину славу. Рядом с ним, в углу, примостился молодой алмазчик Гусев.

Он осторожно прижимает хрустальную вазу к тонкому «жалу» колеса. Через минуту, подкинув ее обеими руками на уровень глаз, рассматривает на свет правильность граней: из прямых, неожиданно оборванных линий возникала на вазе лучезарная звезда...

Немного поодаль работает пожилой бородатый мастер. Его нынче обидели — дали шлифовать сахарницы. Работа эта не интересная и дешевая.

— Не угодил крокодилу, — ворчит мастер, — вот теперь и заработаешь на лапти...

Кравцев уже раза два проходил и строго поглядывал на мастера. А у того и работа что-то не клеится. Он рассматривает сахарницу на свет керосинового гасика.

— Так и есть. Запорол. Да ну ее к чорту и работу-то. Взметнулась рука, и сахарница со звоном упала на асфальтовый пол.

Гусев оторвался от колеса, повернул голову в сторону разошедшегося соседа:

— Брось буяннить, вольница касимовская! Не жилось тебе, дураку, в деревне... Ты думаешь нам не тошно, да вот терпим... Надо артельно действовать, а не в одиночку...

Но уже тут как тут Кравцев.

— Ты, — ткнул он пальцем в бородатого, — в контору за расчетом, а с тебя, — повернулся он к Гусеву, — полтинник штрафа...

— Василь Павлыч, за что? — вскинулся Гусев.

— Ты артельно действовать учил, так вот и отвечай артельно.

Кравцев уже шел по другой стороне алмазного цеха. Важно выкидывая ноги и заложив за спину руки, он громко покрикивал:

— Эй, эй, не зевай по сторонам. Вас, чертей, сто человек и все лодыри. Пошевеливай.

Мастера не могли переносить обиду спокойно и огрызались, как только могли. А когда обида была непереносной, после работы украдкой шли в лес, за «шланбай», и строили планы своего избавления от тяжести бесправия и насилия.

... Два месяца с лишним шлифовались вазы для Чикагской

выставки. Потом их поставили на столах в конторе, и новый управляющий заводами Гайдуков пришел принимать.

После строгой приемки хрусталь бережно обернули соломой, обложили мягкими сосновыми стружками и, запаковавши в ящики, отправили в Америку.

Через полгода до рабочих дошел слухок: хозяин получил за хрусталь золотую медаль...

Очевидно, на радостях «барин» решил наградить и мастеров, чьи замечательные изделия принесли ему мировую славу.

Однажды гусевской управляющий вызвал в господский дом гутарей и алмазчиков.

— Спасибо, ребята, за радение.

— Тем кормимся, — ответил гутенский мастер Яков Калмыков.

— Имею сообщить вам радостное известие: хозяин дает по трешнице наградных.

«Не густо, — подумали шлифовальщики. — Не густо благодарит»...

— А от меня особо — по чашке казенного. На кухне вам поднесут. Ступайте, ребята...

— Хозяин дает по трешнице наградных, — насмешливо повторил Яков Калмыков.

Петр Максимов хмурился и ворчал:

— Благодетели... Цветник-то я три месяца нянчил. Сплошной алмаз, места живого не осталось, а заплатили на десять рублей дешевле прошлой выставки. Намедни штраф заведующий наложил два целковых за выучку сынишки. Он, слышь, много хрустала портит. Выходит, за наши же кровные стал нам благодетелем.

— Уйти бы из этого ада, — вторил ему Гусев.

— А куда? Везде одиноково. Ведь таким, как хозяин наш, вся Россия досталась. Куда ни пойдешь, — везде они на шею сядут.

## ВОЛЯ ВСЕ-ТАКИ ПРИДЕТ!

### 1

Шли годы. Разрастался поселок. Появились казармы: «Вдовья», «Питерская», «Золотая», «Генеральская», «Лаптева», и все на один манер: угрюмые, мрачные, похожие на тюрьмы. И жизнь была в них однообразная, тусклая.

Управляющий Гайдуков чувствовал себя в поселке вершителем судеб, и хоть давно было отменено крепостное право, здесь оно еще чувствовалось крепко, как пень дубовый: корчуй — не выкорчуешь, руби — не вырубишь.

Куда ни вступит нога мастерового — везде попадет в хозяйскую паутину. В гуте и шлифовальне — заведующий, задатчик, надсмотрщик, приказчики. В хозяйских казармах и «поло-



винках» — целый штат «сотских», «десятских», «обходных» и просто сторожей.

А сам управляющий жил помещиком, «забавлялся», устраивал себе увеселительные зрелища.

Был у него один человек — холуйская душа. Настоящее имя его Макар Михалыч, а звали его просто Макарка. Он считался старшим над обходными, сотским. Власть у него была большая. Он мог штрафы накладывать и из квартиры выгнать, и харчевую книжку отобрать. Все было известно Макарке, везде у него сыщики были. Если кто-нибудь провинится перед Макаркою, то он вызывает к себе в конторку и начинает ругаться: «Я тебя, сукина сына, знаю... Я тебя насквозь вижу»...

Голосишко у него был тонкий, визгливый, шепелявый. Вот ругается Макарка и грозит пальцем. Значит давай ему целковый, а иначе хуже будет. Коли двумя пальцами Макарка погрозил, — давай ему два рубля, а погрозит всей ладонью, значит меньше пятерки не возьмет. Много раз собирались рабочие убить Макарку или в пруду утопить, но был он хитрый и всегда заранее знал об этих намерениях... Наподобие Макарки был еще один человек — Степочка. Тот должности не имел, а был вроде добровольного «активиста». Во всем Степочка старался угодить барину. В ту пору женская баня на берегу реки стояла. Прачечной не было. В казармах стирать было нельзя, поэтому, когда женщины пойдут в баню, то и бельишко захватят постирать. Вот узнает Степочка, что Гайдуков мимо женской бани едет и сейчас же туда. Зайдет, увидит, что женщины белье стирают, начнет кричать на них, отберет белье и выбросит на улицу, и вместе с бельем одежду прихватит. Женщинам и одеться не во что. Они из бани нагие за бельем выбегают. А управляющему нравится. Он кучеру прикажет остановиться. Смотрит на голых женщин и хохочет. Степочке за такую потеху наградные шли, даже увековечили — одну казарму его именем называли...

Все крепче и крепче затягивался узел. Мастеровые кряхтели под непосильным ярмом барского самоуправления и озирались кругом: что же дальше будет, кому рассказать, пожаловаться?...

Но жаловаться было некому. Гайдуков ходил по поселку и приказывал встречным становиться на колени и кланяться до земли.

Впрочем у него был разработан специальный устав о том, кто и как должен кланяться. Приказчики по сему уставу на колени могли не вставать, но в пояс кланяться — обязательно.

Иногда Гайдуков, преисполненный чувством безраздельной власти, спрашивал у встречных:

— Кто я?

— Михал Михалыч Гайдуков, — следовал ответ.

— А вам кто?

— Отец родной.

— А еще?

— Царь и бог.

— Ну то-то...

Если кто-нибудь осмеливался отвечать иначе, то разговор был короток: штраф, расчет!

Однажды местный попик, отец Александр, по прозвищу «Шипаный», попробовал было урезонить «царя и бога»:

— Бог един, Михал Михалыч, грешно его именем называться. Святая церковь запрещает.

— Ты вот что, батя, меня не учи, — ответил Гайдуков. — Здесь и святая церковь и ты — все мое. На это мне Юрием Степановичем права даны. И тебе приказываю: не перечь, действуй, как я велю.

— Слушаюсь, чадо мое, — смиренно соглашался поп. И когда мастеровые, а особенно их жены шли за помощью или за утешением в церковь, попик учил:

— Уповайте на Михал Михалыча. Он вам отец родной...

... После Чикагской выставки «царь и бог» устроил праздник. Дело было на масленице. В господский дом съехались гости. В субботу, накануне «прощенного воскресенья», в гуте и шлифовальне было велено пошабашить раньше на три часа.

— Михал Михалыч велел праздновать, — объявляли приказчики.

После работы народ сбился около барского дома. Мужчинам вынесли шесть ведер вина. Гайдуков, в котиковой шапке и енотовой шубе, окруженный гостями, вышел на улицу. Начиналось «гулянье».

Гостям подали санки, крытые разноцветными коврами.

— Прошу, по русскому обычаю, прокатиться, — пригласил хозяин.

Садясь в сани, он распорядился:

— Малолетних катать...

На конном дворе в грязные — из-под торфа — ящики посажали детвору, собранную со всех слободок. Старый конюх с испитым лицом поучал детвору, громко юкая:

— Покрепче, ребята, загибайте. Как сравняетесь с управляющим, так и тряньте. Он страсть как любит. Ну с богом!

Заводские ломовики рванули и, подгоняемые кучерами, понеслись махом мимо управляющего.

— Позабористее, — кричали кучера.

Из возков неслась отборная ругань и самые площадные частушки.

— Ай, молодцы! Ну, и молодцы!

И в ящики летели горсти дешевой карамели.

Улицу запрудили в несколько рядов мастеровые и фабричные. Здесь были гутенщики, шлифовальщики, слесари, ткачи, прядильщики, литейщики. Тут же шныряли «свои» слободские, нищие и просто случайно забредшие, почуявшие лакомый кусок.

Жены мастеровых качали головами и осуждали втихомолку управляющего «за разврат ребятишек».

Мастеровые вели между собой свой разговор. Некоторых

уже «позывало» на песню. Кто-то пробовал «померяться силами», но стоящие рядом рабочие удерживали «резонным словом», а особо «разорявшегося» просто брали «за грудки» и выталкивали.

Внимание задних рядов привлек неизвестный человек. Он был одет в простой крестьянский «зипун сорока бориков», роста среднего, в плечах плотный. Из-под ушастой шапки на лоб выбивался клочок русых волос. Мастеровые окружили его плотным кольцом. Неизвестный человек говорил тихо, кивая головой в сторону управляющего и его свиты:

— Видали, как забавляется наша американская свинья? Походите, еще не то увидите!

Кто-то из слушателей равнодушно произнес:

— Было это, и будет отныне и до века!

В это время по рядам пронесся певчий голосок церковного регента Льва Петровича:

— Господа! Михал Михалыч имеет важное сообщение.

Гайдуков закинул назад руки, выпятил грудь и не сходя с места потряс обвисшим подбородком:

— Его сиятельство публично отблагодарит мастеров за их преданную работу...

Управляющий хотел было провозгласить «Ура русским хрустальщикам», но в это время из рядов раздался звонкий, вызывающий голос незнакомца:

— К чорту вашу благодарность! Скажи лучше, сколько мастеровым хребтов переломали!

Гайдуков остолбенел. Он никак не мог понять, откуда столь неожиданно появились среди мастеровых такие своевольные мысли. Но быстро войдя в себя, завизжал:

— Кто это? Найти подлеца!

Обходные бросились в ряды, но мастеровые плотно сомкнутой стеной оттирала их. Незнакомец скрылся.

После мастеровые потихоньку передавали друг другу, что это был новый учитель из ближнего села Вешки...

## 2

Доверенный гусевского завода, не надеясь на почту, с нарочным отправил письмо в Питер.

«Милостивый государь, Юрий Степанович, — писал он, — фабричное хозяйство идет по заведенному порядку. Прибыли за 8 месяцев по хлопчатобумажному производству насчитали 499000 рублей, по хрустальному 60000 рублей. От беспорядков, какие тревожат ныне русскую землю, нас бог избавил. В производстве спокойно и вредных злоумышленных настроений не замечено.

Примите уверение в совершенном уважении, с которым имею честь быть ваш покорный слуга».

Но искра борьбы уже тлела где-то внутри завода, в сиротских поселковых домиках и казармах.

В Гусь-Хрустальном зарождалась иная жизнь.

Поздней осенью 1888 года в Гусь приехал Петр Акимыч Торкин, по прозвищу Казарин. Был он когда-то ткачом на морозовской мануфактуре. Как и многих других, после забастовки Петра не допустили до фабрики, и выкинули паспорт с отметкой «неблагонадежного». Побывал он потом в Иваново-Вознесенске, в Москве, но фабриканты везде встречали его наглухо затворенными воротами.

В Гусь-Хрустальном он поступил на текстильную фабрику...

Однажды в кабинет господского дома вбежал вотчинный десятский.

Этот высокий, слегка сутулый, с черными, аккуратно оправленными усиками человек имел связи с каждым мастеровым и фабричным и знал почти всю их родословную. В среде мастеровых он держался за панибрата, сочувственно поддакивал, вызывал на откровенность, в господском доме гнул спину перед управляющим, вычитывая из «карманной книжки» фамилии «долгоязычных и строптивых земляков». Он выслуживался угоднически...

Десятский стоял у двери и подхалимски улыбался:

— Михал Михалыч. Извольте выслушать мои наблюдения... Во время смен на дворе фабрики и около гуты рабочие собираются в кучки и ведут противонаравственные разговоры... Не иначе, кто-нибудь из новеньких появился.

Ночью у Петра Торкина произвели обыск. В эту же ночь нагрянули и к Ивану Зотову, подняли «вверх дном» квартиру Филиппа Шеханова.

Но обыски не дали «ожидаемых результатов». Нашли всего лишь «жизнеописание святых». Меленковский исправник сидел в кабинете управляющего и дергал с досады правый ус.

Через некоторое время об «опасных вольнодумствиях» в «провинции Гуся Нечаева-Мальцова» поступило «донесение» в канцелярию начальника губернии.

Кто писал «донесение», — неизвестно, но только попало оно в руки старшего фабричного инспектора.

Фабричный инспектор Свирский, чья рука принимала не одну взятку главной конторы заводууправления, спешил «объективно» уведомить «его превосходительство губернии начальника Теренина»:

«Промышленная и общественная жизнь гусевских фабрик и заводов настолько своеобразно сложилась и настолько отличается от такой же на других мануфактурах губернии, что автор «донесения» с полным сознанием, хотя не без наивности, называет этот промышленный центр «провинция Гусь». Удаленный от ближайшей полицейской судебной власти на 40 верст, от ближайшего полицейского урядника на 28 верст, Гусь остался в стороне от культурного воздействия органов прави-

тельственной власти. Все обыденные многосложные функции административного и судебного характера по отношению к 12000-му населению исполняются конторой по прямой преемственности с эпохи крепостного права. В этом отношении гусевские фабрики ближе подходят к старинным горным заводам, сохранившим многие из черт вотчинного управления.

Кроме мелкой судебной-полицейской власти, которой пользуется гусевская контора, последняя, на правах владельца жилых построек, земли и окружающих лесов, располагает правом выселения за черту мальцовских владений, воспрещения на базарах той или другой торговли, распределяет топливо и прочее. Если к этому прибавить право почти во всякое время рассчитывать рабочего, то понятна та широкая власть по отношению населения, которой пользуется контора и главным образом управляющий».

«Защитник рабочих» инспектор Свирский, может быть лучше других чувствовавший нарастающее среди рабочих классовое единство, старался склонить «его превосходительство» к введению в Гусе «культурного» воздействия органов правительственной власти:

«Если проведение в массы чувства законности и сознания, что существует власть, карающая зло, откуда бы оно ни исходило, может лучше всего обеспечить правильность отношений (предпринимателей и рабочих) и устранить столкновения, то широкая власть конторы, заслоняющая собой от населения правительственную, может в конце концов оказаться несостоятельною».

Тайный сотрудник владимирского жандармского управления, монархист, фабричный инспектор спешил охранить главную контору «от народного самоуправства».

Но затушить разгоравшуюся ненависть мастеровых и фабричных было невозможно.

На окраинах слободки и в рабочих казармах организовывались кружки рабочих. Малочисленные — в два-три человека — они занимались всего лишь чтением литературы. Разрозненные и оторванные друг от друга, они не имели еще организующей силы и влияния на широкие массы. Но это было начало решительного поворота в сознании гусевских рабочих.

## КАЗАКИ

В девяностых годах Юрий Нечаев-Мальцов заключил торговую сделку на вывоз хрустальных изделий в Германию, а через некоторое время он получил право экспорта в Азию.

Искусные хрустальные вещи — мудрая выдумка, изобрета-

тельство, пот и кровь безыменных гусевских художников приносили славу хозяину. Дела расширялись, капиталы росли, прибыль увеличивалась...

Но кто знал, что происходило в это время вдали от русской столицы, в провинции Гусь-Хрустальный?

Две «главные улицы», выстроившиеся крест-на-крест, простирались своими концами на четыре стороны и каждая из них замыкалась шлагбаумом, по местному — шламбоем. Однотипные, на один манер, особняки, зарывшиеся в густой зелени деревьев, были привилегией приказчиков господского дома и просто «своих людей». Высокие плотные заборы, свирепые псы, герань на окнах подчеркивали собственническую скрытность и недоверчивость.

А в центре «креста» блистала золотыми шапками церковь, господский дом с балконом, многочисленные склады с пудовыми замками и черная квадратная коробка гуты, выбрасывающая смрадные газы.

Мастеровые и пришлые рабочие не любили эту часть города. Они жили своей обособленной жизнью в многочисленных слободках, в унылых хозяйских домиках да в вонючих казармах.

Жили тесно, по два-три соседа в одной половинке, ютились под лестницами или в прогалах<sup>1</sup> казарм.

Дать или не дать рабочему квартиру, оставить его семью в пропахшей вонью каморке или выселить ее вон, — вершил сам управляющий.

У одного хлопца-шлифовальщика умер отец. Осталось после отца трое: он и две сестры. Жили в «половинке» с кухней, с соседом — подмастером ткацкой фабрики. Отец лежал еще в переднем углу, а из квартиры уже назначили их выводить, отдали другим. Пошли вместе с соседом к управляющему. Вошли в кабинет. Управляющий вскинул глаза:

— Что нужно?

— За что нас выводят из квартиры, — начал хлопец.

— Так мне нужно, — заорал управляющий. — Следующий!

— Мы вот прожили двенадцать лет, — плакал хлопец, — ни одной доски не сменили, не было никакого ремонта, квартира как новая.

— Ты учить меня пришел? Сторож, открой дверь!

Он схватил хлопца за руку, стукнул его по шее и выбросил из кабинета.

Мастеровой должен был заслужить милость управляющего, угодить чем-нибудь.

В шлифовальне работал мастер Федор Зубков. Молча приходил в цех, молча уходил домой и, казалось, был безответным. Жил бедно, большая семья ютилась в «клетке», плохо приспособленной для жилья. Федор доживал пятый десяток, и никто не видал на его лице улыбки. Единственной мечтой его,

<sup>1</sup> Коридоры в казармах.

целью жизни — было получить хоть какой-нибудь кров для своей семьи. А уютный, теплый угол уходил от него все дальше и дальше.

Мастера шутили:

— Протянешь ноги в переднем углу, тогда управляющий смилуется, целых три аршина на одного даст...

И совсем неожиданно счастье улыбнулось. Из губернии в вотчину приехал «бегунок-скороход» — тощий, длинный. Был двенадцатый праздник. Управляющий со всей господской челядью вышел на «круг» поразвлечься.

«Бегунок» разделся, поболтал руками и ногами и пустился по кругу бежать. Казалось, никто не мог его перегнать, и он, остановившись перед управляющим, взывал к толпе зрителей:

— Ну, кто хочет померяться силами?!

Мастера равнодушно переглядывались. Управляющий разыскал в толпе Федора Зубкова, поманил его пальцем, сказал:

— Ты, Зубков, квартиру у меня просил намедни...

И подмигнул.

Федор Зубков сразу понял о чем идет речь.

— Мы, Михал Михалыч, в два счета...

Плевались мужики, ахали бабы, а Федор с половины «круга» уже шел впереди «бегунка». Смешно тряслась старческая борода, мельтешили белые подштанники. Федору уже изменяли силы, он дышал, как запаленная лошадь, тяжело и отрывисто, в глазах потемнело... Дальше Федор ничего не помнит. Его подняли мастера и отвезли домой.

Федор получил квартиру, но недолго пришлось жить в ней, он захирел после того и скоро умер...

Догадливые мастеровые, минуя управляющего, шли прямо к хозяйскому «квартирмейстеру». Но здесь уже без взятки не обходилось. Неписанная такса у «квартирмейстера» предусматривала все с точностью: полштоф с бумажкой — запись в очередь, две бумажки — подыскание «фатеры» вне очереди, «сиженькая» — тут же ордер на руки, «петушок» — «фатера» без соседа, одни слезы и поклоны — «моли бога», что из этой «фатеры» не выгнали. Мастеровой отдавал жалкие, кровью заработанные гроши.

Но рабочие все прибывали, в старых слободках и казармах становилось еще теснее. Они шли из обнищавших деревень, бросая землю и заколачивая избы. Много переходили и с других заводов.

Пришлые рабочие и холостяки вставали «на хлеб» к какой-нибудь вдове, выплачивая ей ежемесячно по две-три бумажки за «клетку»<sup>1</sup> да по красненькой «за стол».

Управляющий, понимая, что с получением «казенной» хо-

<sup>1</sup> Клетка — местное название дровяного сарая.

зайской квартиры мастеровой целиком будет зависеть от завода и, следовательно, полностью перейдет в руки хрустального короля, с разрешения столичного хозяина начал строить новую слободу.

Разместилась она на восточной стороне, около самого леса, за старой чертой города, и поэтому была проозвана «вышвыркой».

Но для «ублаговорения» новых рабочих этого было мало. Хозяин, решив «не забивать прибыли в мертвый капитал», пошел на «уступки» и отвел землю под частные застройки. Вскоре выстроился целый поселок, названный в честь памяти хозяина «Георгиевским». Стрились при помощи хозяйской ссуды. Ссуда выдавалась по-разному, глядя по преданности рабочего, кому «на малое», а кому на продолжительное время, но с «обязательной выплатой 20 процентов за каждый выданный на вспомоществование рубль». На долгие годы мастеровой закабал себя в зависимость от «благодетельного» ростовщика,

Мастерового и фабричного обкрадывали на каждом шагу. Обкрадывали тонко и искусно.

На всех улицах слободки существовали сторожа, охранявшие собственность хозяина. Сторожей нанимала главная контора, а мастеровой фабричный должен был выплачивать ежемесячно по двадцать копеек.

Многие мастеровые держали своих коров. Скотину застраховывали, как правило, в три-четыре рубля, а в конторе потом писали 13 рублей.

Неписанная такса вычетов из заработка рабочего была и в заводе. Мастер-шлифовальщик наработал посуду, ее нужно свезти на склад. По «закону» хрустального короля это входило в обязанность самого мастера. Но «благодетель» пошел на «уступки» и ввел «рационализацию». Посуду стали относить специальные рабочие. Но зато мастер не досчитывал в месячном заработке целый рубль и больше. Платили за относку посуды из своего заработка также и гутенские мастера.

Мастеровые думали, что во всем виноват управляющий и искали средств, чтобы избавиться от него...

И вот осенью 1894 года по цехам завода и слободкам разнесся слух:

— Гайдукова сменяют...

В слободских домиках мастеровые облегченно вздыхали, гурторили:

— Наконец-то свет увидим...

— Видно до барина дошли наши слезы...

— Давно бы такую собаку на тот свет отправить...

Но управляющего вотчиной — держиморду и насильника Гайдукова — сменили вовсе не потому, что «до барина дошли слезы» мастеровых.

Главный управляющий Шегляев заподозрил Гайдукова в нарушении неписанного договора о дележе «прибылей». Вместо



тридцати тысяч, которые по окончании года должен получить Шегляев негласно, управляющий вотчины переслал ему только двадцать, положив остальные в свой карман. Шегляев не ожидал такого «афронта» от своего человека, разгневался и разжаловал его перед хозяином.

Гайдукова провожал длинный обоз, нагруженный хрустальной посудой. В своем имении в Рязанской губернии он открыл торговлю сеном. Так разживались управляющие на награбленных у мастеровых «копейках»...

Сменился управляющий, а жизнь оставалась прежней, тяжелой и несправедливой.

Быстро растущий капитализм требовал новых жертв, новой рабочей крови. Чем больше росли доходы хрустального короля, тем сильнее он наступал на горло мастерового и фабричного.

Сознание, что в каторжной жизни виноваты не только управляющий, но и хозяин вместе с царским правительством, у стекольщиков появилось не сразу. Понимать это их научила стачка фабричных.

«...Стачки приучают рабочих к объединению, стачки показывают им, что только сообща могут они вести борьбу против капиталистов, стачки научают рабочих думать о борьбе всего рабочего класса против всего класса фабрикантов и против самовластного, полицейского правительства».<sup>1</sup>

## 2

Мастеровые в гуте работали в праздничные и воскресные дни. У фабричных урезали 22 праздника. Под разными «благотворительными» предлогами усиленно проводили сверхурочные работы, оплачиваемые по обычным расценкам. У ткачей и прядильщиков снизили заработную плату на 8—9 процентов. Средний дневной заработок ткача составлял всего 45—46 копеек в день.

Усилились поборы, хозяйские приказчики выжимали из рабочего заработка все, что могли, а могли они многое: произвольно снизить расценки, заставить работать день и ночь за обычную плату, наложить какой угодно штраф, повысить расценки на продукты в хозяйской лавке, украсть из выработки ткача десять—пятнадцать метров ткани...

Волнение росло. Слободка глухо роптала. Рабочие, выбившиеся из сил, понимали, что мирным путем не улучшить своего положения, что нужны решительные действия, активная защита своих интересов.

Несколько человек в полутемной казарменной каморке каждую ночь обсуждали создавшееся положение. Небольшая кучка передовых рабочих, как в зеркале, отражала чаяния и надежды всей слободки. И здесь, в кружке, решили призвать рабочих открыто выступить на защиту своих интересов.

<sup>1</sup> Ленин. О стачках. Соч., т. II, стр. 577.

И день решительного выступления рабочих пришел.

Ткач Петр Торкин вдруг среди дня остановил станки, отвинтил погонялку, навязал на нее красный носовой платок и, размахивая им, двинулся по всем тропкам большого ткацкого приделка.<sup>1</sup>

Станки встали, и в большом приделке уже металась человеческие голоса:

— Кончай работу!

— Выходи!

— Выходи все на двор, — кричал Торкин. — Не забудьте порядок сохранять, чтобы бунта не было.

Присмирившие, застигнутые врасплох мастера пугливо озирались по сторонам, жались к машинам, освобождая путь спокойно выходившим рабочим.

Фабричный двор гудел как улей. Сюда прибывали прядильщики, слесари, чесальщики, ткачи.

На початочном ящике, широко расставив ноги, стоял Петр, спокойный и невозмутимый. Он сдернул с головы шапку, взметнул ее в воздухе, крикнул:

— Братья!..

Это слово, впервые сказанное здесь, на минуту задержалось в волнующемся человеческом море и замерло где-то у стены фабричного корпуса.

— Братья! — повторил Петр. — Хозяева продолжают водить нас за нос. Расценки не повышают. У ткачей прибавили меру на куске, а за лишние аршины не платят. Разве это не грабеж, как по-вашему? Директор Эдж встретил нашу делегацию насмешками. Разве мы не имеем права на внимание. А когда мы обратились к главному барину Шегляеву, он нас выгнал и заявил, что всю дорогу от Гуся до Владимира осыплет золотом, но прибавки не сделает...

На ящик вскарабкался худощавый с пожелтевшим лицом мужичишка. Резким движением руки он распахнул пальто, бросил под ноги картуз и слегка присел, словно готовился прыгнуть. В нем сразу узнали ткача Давыдку.

— Что же это, братцы, делается? — завопил он зычным голосом. — Выходит — полный грабеж. На руках мозоли выросли, глаза слепнут, чахотка внутренности точит, а на наших костях господа капиталы наживают. Мое слово — бастовать...

— К работе не приступаем до тех пор, пока не выполнят наши требования, — объявил Петр Торкин.

Районный фабричный инспектор Сахарнов силился взобраться на трибуну. Он то вставал одной ногой на ящик, то взмахивал белым платком, но рядом стоящие рабочие бесцеремонно стаскивали его.

— Ну, разрешите, господа, — упрашивал инспектор.

Рабочие расступились и дали ему говорить. Сахарнов за-

<sup>1</sup> Стачка началась 23 февраля 1898 года.

метно дрожал и путался. Это был уже не тот инспектор, который четыре-пять дней назад разговаривал с рабочими языком законов, выпятив грудь.

Инспектор из сил выходил, он уговаривал рабочих не прекращать работы, заявляя, что все обещания господина Шегляева будут выполнены.

Но рабочих трудно было обмануть еще раз.

— Долой хозяйского прихвостня! — кричала толпа.

Фабричному инспектору «помогли» сойти рабочие. Основательно помятый, он поспешил скрыться за воротами фабрики.

— Это тебе не чай пить в господском доме, — летело вдогонку инспектору.

В этот вечер четверо рабочих послали за своей подписью телеграмму владимирскому старшему инспектору Свирскому:

«Просим разобрать наше дело всех мастерских Нечаева-Мальцова. С 23 числа работы прекратились, низшее начальство отказалось, и дело осталось без внимания. Просим вашего решения о приезде для разбора дела. Ждем ответа. Телеграфируйте».

Телеграмма, посланная рабочими, не застала Свирского. Он был проинформирован несколькими часами раньше.

Прибыл он в Гусь рано утром. Днем в господском доме собрались заведующие, директор, англичанин Эдж, приглашенные мастера. Выходить к рабочим администрация наотрез отказалась; ждали делегацию от рабочих.

Управляющий Андреев-Туркин развалился в кресле и ежеминутно поправлял то темносинее пенсне, то кольчико черных усов.

— С моей стороны все меры приняты. Я, Филипп Акимыч, больше не в силах, — заговорил Свирский.

— Надо заставить. Вам больше веры, вы защитник рабочих, — перебил его управляющий тоном, не допускающим возражений, скривив в усмешке уголки губ.

— Но ведь массы...

— Массы, массы, — подскочил управляющий. — Уговорите, ну, пообещайте, наконец.

«Уговаривания», посулы и обещания были основной профессией Франца Свирского. На этом он квалифицировался ни один год. Но было время, когда старший инспектор переодевался в другие одежды и выступал в роли непосредственного усмирителя рабочих стачек.

На улице стояли рабочие, ожидая объяснений администрации. Они и не думали посылать свою делегацию к управляющему.

Франц Свирский вышел на крыльцо. Он попытался, как раньше, поднять руку, чтобы сразу все затихли, хотел призвать к порядку, но никто, к его удивлению, не замолчал, со всех сторон градом сыпались требования;

- Повышайте расценки!
- Прекратите обмеривание рабочих.
- Девятичасовой рабочий день.
- Пенсию старикам и увечным.

Инспектор равнодушно играл тросточкой.

— Я заявляю, — наконец сказал он, — пока не встанете на работу, ни одно ваше требование рассматривать не буду. Прошу во имя закона прекратить стачку...

И повернувшись, засеменил к дверям, подхлестываемый грозной волной правдивых обличений.

- Шкура продажная, — неслось ему вдогонку.
- Взяточник!

### 3

В этот день в тесной каморке собрались рабочие. Обсуждали, как быть и что делать дальше. Список требований, с которыми должна отправиться делегация к директору фабрики, был принят без возражений. Но под конец разгорелся жаркий спор.

Некоторые, напуганные упорством инспектора и фабричной администрации, предлагали обратиться за помощью к брату царя — московскому генерал-губернатору Сергею Романову.

Еще была сильна наивная вера в царя, в его брата, которые помогут в борьбе с фабричной администрацией.

Торкин, спокойный и невозмутимый, возражал:

— Пустая затея и больше ничего. Как солнце в декабре не греет, так и брат царя не поможет... Скорее всего полицию пришлет, это вернее...

Но вечером этого дня телеграмма была отправлена. Ткач Ловчев, мюльщик Зернов, трепальщик Пырков и шлихтовальщик Хренов писали:

«Москва. Его императорскому высочеству великому князю Сергею Александровичу.

Покорнейше просим защитить нас рабочих на гусевской Нечаева-Мальцова Владимирской губернии. Губернская инспекция не может разобрать наше дело и оставила без последствий. Работы прекращены с 23 числа. Просим немедленно ответ».<sup>1</sup>

А на другой день утром телеграмма гусевских рабочих возвратилась к владимирскому губернатору. На уголке ее была посажена чернильная клякса и равнодушно холодный почерк царской руки: «Это до меня мало касается».

... В господском доме стягивались черные силы... Франц Свирский строчил владимирскому губернатору Теренину донесение:

«Ткацкая и прядильная фабрики стоят, требования рабочих

<sup>1</sup> Архив канцелярии владимирского губернатора за 1898 год, дело № 21, лист 15.

неприемлемы. Поведение рабочих пока удовлетворительное, но упорное. Исправника нет. Прошу несколько жандармов»<sup>1</sup>.

Свирский старался выслужиться и двумя часами позднее строчил второе донесение:

«... Придется прибегнуть к принудительному расчету... Закрыть для уволенных харчевой магазин... Ввиду полного отсутствия на фабрике нижних чинов полиции... отправить на Гусь войска...»

И в ночь на третий день стачки в Хрустальный Гусь прилетели непрощенные «гости».

Главная контора сдала фабрику в руки меленковского исправника Розанова и прибывших с ним жандармов.

Фабричные корпуса молчали.

Но рабочая слободка была в необычайном напряжении. Каждая улица, каждая казарма жили своими, рабочими, общими интересами.

Люди, казалось, стали бодрее, по улицам они расхаживали, как домовитые хозяева, смело приглядываясь к окружающему их миру слободки.

Только на ночь пустели улицы, настороженно засыпали казармы, и тогда над крышами слободских домиков вспыхивало зловещее зарево гуты. Это работали хрустальщики, мастера стекла.

Слободка просыпалась ранним утром, улицы перекликались торопливыми человеческими голосами. Люди шли к воротам фабрики, выстраивались в ряды и тесной плотной стеной расхаживали вдоль высокого мрачного забора. Никто не думал сдаваться.

Люди упорно не шли в фабричные корпуса. У больших ворот, у входов в цеха, стояли свои «рабочие посты». Было трудно пройти даже мастеру.

Рабочих запугивали лишением «права на снисхождение фабричного управления», предупреждали, что «никаких изменений в порядке работ и в табелях сделано не будет». А старший инспектор Свирский, «жалая семьи», грозил судом и увольнением с фабрики.

Но рабочие держались упорно.

#### 4

Незаметно подкралась пятая ночь.

Стояла глубокая тишина. Только изредка гавкали пугливые дворняжки да не знала покоя гута, тяжело дыша, как чудовищное животное.

Крепко спали казармы и хозяйские половинки. Вповалку разметались люди на полу, на вытертых соломенных тюфяках, усталые и измученные неравной борьбой.

<sup>1</sup> Архив канцелярии владимирского губернатора за 1898 год, дело 21, лист 1.

А в нескольких верстах от спящих слободок, на большой проселочной дороге, вьющейся по лесу, скользили тени солдатских шинелей. Пугливо шарахались в сторону кони, бряцали железом повозки. Батальон гренадеров в составе одного штаб-офицера, двенадцати обер-офицеров, врача и 361 нижних чинов под командой самого вице-губернатора ехали в Гусь «для ускорения возобновления работ, производства допросов и арестов».

В доме управляющего зажглись огни. Вице-губернатора приняли с черного хода. Гренадеры разместились на конном дворе.

Лакей Степочка словно шмель летал по комнатам, стаскивая в гостиную вина и закуски.

Выслушав исправника и старшего инспектора о положении дел на фабрике, вице-губернатор Урусов топал ногой и приказывал:

— Расставить патрули! Зачинщиков арестовать!

И тени солдат поползли по улицам слободок.

В эту ночь сняли рабочие посты у входов в фабрику.

Вдоль спящих унылых домиков молча пробирались два офицера, жандарм и несколько гренадеров. Впереди их маячила тень человека. Он, казалось, не шел, а крался.

Полоска света карманного фонарика скользнула по пошатнувшимся воротам. На минуту оголились поломанные доски, и на одной из них мелькнул маленький крестик, написанный мелом. Человек, укутанный в шаль, остановился, сказал приглушенным голосом:

— Вот здесь!

Если бы это было днем, фабричные узнали бы в человеке десятского Григория, местного шпика.

Гренадер бесшумно перелез через забор и отпер ворота.

...Петра Торкина захватили на постели. Нельзя было ни скрыться, ни сопротивляться. Высокий офицер с кривым носом, наставив дуло револьвера, приказал стоять на одном месте. Тщательно искали литературу. Вороненые штыки впивались в подушки, в углу валялось разодранное лоскутковое одеяло, около двери жандарм выкидывал тряпье из сундука. В сенях гремели ведра, с треском ломали дверь в чулан.

Петр стоял спокойно и мужественно. На все вопросы офицера он отвечал лаконично: «нет».

Торкина подвели к пожарному сараю, распахнули дверь, и грубые солдатские руки бросили его на пол.

Там уже сидели арестованные — Николай Ловачев и еще четыре человека, «чем-либо выделявшиеся во время стачки».

Стачка в «провинции Гусь» настолько встревожила губернию, что ею заинтересовалось даже правительство. Владимирский губернатор успокаивал министра внутренних дел, друга и покровителя хрустального короля — Сипягина:

«Доношу вашему превосходительству, что для восстановления порядка на гусевском заводе мною командирован вице-губер-

натор и отправлен батальон пехоты. Ввиду возбужденного и угрожающего настроения рабочих вызываю сотню казаков из Москвы. Всего не работает 4000 чел. ткачей и прядильщиков».

Об аресте своих товарищей рабочие узнали в эту же ночь. Печальную весть разнесли в один миг; родные и знакомые ходили из дома в дом и передавали: «арестованы». И рано утром рабочие, лишенные своих вожаков, подступили плотной стеной к господскому дому.

— Освободить арестованных! — властно крикнул Иван Зотов, стоявший в первых рядах.

— Освободить арестованных! — ликующим эхом отозвалась многотысячная толпа рабочих.

Из дома управляющего вышел Франц Свирский. Как и всегда, он поигрывал тросточкой.

— Тетеревятник! — встретили его рабочие криками.

— Иуда, предатель!

Освищенный инспектор скрылся за дверями.

Вслед за ним на крыльце появился в парадной форме вице-губернатор Урусов, сопровождаемый исправником. Он вертел головой направо и налево, словно голова у него была на шарнирах.

Кто-то сказал громко и отрывисто:

— Тоже шука!

А в это время уже орал исправник:

— Шапки снять!

Но рабочие не исполнили приказание исправника.

— Вам или нет говорят, бараны! Почему не снимаете шапки? — надсажался исправник.

— Мы только из бани, боимся простудиться, — кричали с одной стороны.

— А вы штраф наложите на шапки, они сами слетят, — советовали другие.

Вице-губернатор, обескураженный «неповиновением», все же вступил в переговоры.

Но из рядов рабочих навстречу вице-губернатору вышел Иван Зотов и, как равный с равным, изложил требования большинства.

Чувствуя за своей спиной вооруженную силу, губернатор отрез отказался удовлетворить какие-либо требования. Упорство рабочих и их спокойствие еще более злили вице-губернатора, и он, выходя из себя, грозил уже судом и массовым увольнением с фабрики.

А тем временем задние ряды рабочих демонстративно повернули от господского дома и двинулись к пожарному сараю, где сидели арестованные.

Несколько гренадеров, охранявших арестованных, не выдержали напора рабочих и отступили ближе к стенам сарая.

Кто-то крикнул:

— Освобождай арестованных!

Площадь заполнялась все новыми рабочими. Сюда шли со всех слободок, становилось тесно. Казалось, это было море, которое вот-вот разразится могучим шквалом.

Но пригнали еще две роты гренадеров. Разъяренный вице-губернатор, в панике оставивший господский дом и прибежавший к месту заключения рабочих вместе с жандармами и полицейскими, что-то сказал штаб-офицеру и тот крикнул:

— Р-р-р-разойдись!

Рабочие стояли упорно.

Над головами рабочих снова раздался пронзительный, визгливый крик штаб-офицера:

— Солдаты, в ружье!

Гренадеры взяли винтовки на-изготовку. Площадь дрогнула, рабочие попятились назад и встали, еще теснее сомкнув ряды. Кто-то крикнул:

— Держись!

Кто-то пытался уговаривать солдат. Некоторые, что ближе к заборам, выдирали колья и слепи, готовясь к самозащите.

— Не бойся, не тронут! — неслось откуда-то из середины площади.

Перед Иваном Зотовым лицом к лицу стоял высокий в башлыке гренадер, опустив глаза в землю и выставив штык. Может быть солдат не мог смотреть прямо в глаза стоящему перед ним рабочему. Может быть его мысли блуждали уже в другом русском городе, где остался его брат, такой же рабочий, и где так же, может быть, перед ним поставили иногороднего солдата с винтовкой на-изготовку.

Вдруг Иван Зотов крикнул:

— За мной!

Холодная сталь штыка обожгла руки.

Гренадер пошатнулся. И Иван уже добрался до ствола, ловко подобрав штык подмышку и сиюсь отобрать винтовку. За Иваном двинулись на солдат женщины и также смело вцепились в винтовки.

Солдаты слабо отбивались, не выпуская из рук оружия.

Момент был критический. Казалось, жизнь многих рабочих и работниц была на волоске от смерти. Но рабочие упорно и решительно стояли на защите своих интересов.

Так до позднего вечера на площади стояли друг против друга солдаты и рабочие.

А ночью по улицам расхаживали патрули. Слободка была объявлена на военном положении.

## 5

В шлифовальне шел усиленный сбор средств на помощь стачечникам.

Художники хрусталя участливо отзывались на нужды фабричных.



События доходили в шлифовальню во всех подробностях и волновали мастеров стекла. У многих из них на фабрике работали жены, братья, сестры и поэтому им не безразлична была судьба фабричных. И как ни расставлял господский дом «свои глаза» по всем цехам хрустального производства, все же настроения фабричных проникали и к гутенщикам, и к шлифовальщикам.

Рано по утру, перед приходом рабочих, в дирижерном цехе шлифовальни вдруг появилась маленькая, в четверть писчего листа, «прокламация». Она была написана от руки и крепко примазана на кирпичную стенку.

«Братья! Довольно терпеть насилия над нашими женами и сестрами. Бросайте работу и присоединяйтесь к нам».

Заведующий шлифовальней Василий Кравцев испуганно прыгал у стены, стараясь содрать «прокламацию» ногтями, и кричал осипшим голосом:

— Кто, кто приклеил! Засужу, выгоню!

Но никто не отвечал на его вопли. Тогда он подбежал к стоявшему у машины рабочему, дернул его за плечо и еще сильнее заорал прямо над его ухом:

— Кто приклеил, спрашиваю?

Рабочий обернулся к начальнику, вынул черный, как и его руки, платок, вытер им слезившийся глаз, спросил:

— Чего?

— Бумажку, дурак!

— А-а! Конторщики каждый день клеят какие-то бумажки. Третьего дня присобачили большую, о снижении расценок которая. Читать не успеваем. Не иначе и эту бумажку они приклеили...

Кравцев со злости плюнул и уже бежал по цеху.

В этот день бастующие текстильщики пошли к управляющему.

Впереди всех шагал Иван Зотов, сосредоточенный, с опухшими глазами от пережитых бессонных ночей. Рядом с ним Глеб Авдеев. Он по-детски пнул ногой попавшийся на дороге лошадиный шевяк и, проследя, как тот, ударившись об изгородь, зарылся в снежный сугроб, засмеялся:

— Вот так бы и вдарил всем господам под заднее место!

Их провожала большая толпа.

— Ты, Зотов, смелее говори, не стесняйся!

— Покрепче их там!

— Петра Торкина требуйте освободить!

Рабочие остались ждать у подъезда, а депутаты, ощупываемые взглядами часовых — солдат, прошли в рабочий кабинет директора.

Здесь были старший инспектор, пристав и два жандарма. Эдж сидел за письменным столом в кресле. Пристав Розанов стоял у окна, прислонившись к косяку.

— Садитесь! — коверкая русские слова, указал Эдж на мягкие стулья у стены, а сам подвинулся к столу.

— Ничего, мы люди привычные, постоим, — сказал Иван Зотов и добавил: — Мы от рабочих, с требованиями.

— Ага, с требованиями? Слушаю! — откинулся к спинке кресла и обхватил лопатообразную бороду левой рукой.

Иван Зотов подошел почти к столу и, рассекая правой рукой воздух, а левой держа список требований, говорил:

— Продолжать работу мы, рабочие, согласны на следующих условиях. Первое — оплатить за простой фабрик и за лишнюю меру в кусках за пятнадцать лет назад. Второе — всем беременным женщинам выдать пособие, а не работающим по болезни выдавать половинную часть заработка. Третье — рабочих после продолжительной болезни брать на те же места. Четвертое — одиночкам платить квартирные. Пятое — всем рабочим повысить расценки и сократить рабочий день с 10½ часов до 9 часов. Шестое — гарантировать, что никто из принимавших участие в стачке не будет уволен с фабрики. В противном случае, рабочие опять забастуют всей фабрикой. Седьмое — освободить арестованных рабочих. Восьмое — убрать шпионов с фабрики.

— Все? — перебил Эдж и, не дождавшись ответа, заявил: — ни одно из ваших требований для моего хозяина приемлемо не будет!..

— Мы еще не кончили, — сказал Зотов и переглянулся с Глебом. — У нас есть еще одно требование — убрать директора Эджа и всех его покровителей.

Директор подскочил в кресле.

— Вон отсюда!

Зотов и Авдеев вышли из кабинета спокойно. На улице стояла и ждала их толпа рабочих.

## 6

Московский генерал-губернатор — брат Николая II — не замедлил выполнить просьбу владимирских властей. Через два дня ночью тихие улицы рабочих гусевских слободок окружила сотня астраханских казаков.

И расправа началась...

В этот день арестовали еще семь человек. Брели по одному. Ивана Зотова захватили у ворот квартиры, когда он вышел, чтобы направиться на площадь. Перед ним выросла лошадь и лицо казака. Казак гикнул, взмахнул плетью и наотмашь рубанул Ивана по лицу. Багровый рубец через всю щеку запекся кровью.

Его без памяти приволокли к пожарному сараю и бросили в открытую дверь на голый пол.

Глеба Авдеева искали долго. Он сумел запутать следы нескольких шпионов господского дома. Разыскали его к вечеру в клетке одного из домов слободки и жестоко били.

В хозяйской харчевой лавке прекратили отпуск продуктов.

За прилавком распоряжался казак с заломленной набекрень фуражкой с желтым околышем, отбирая старые продовольственные книжки.

Вице-губернатор объявил рабочим поголовный расчет. Но рабочие не шли за расчетом, и паспорта с деньгами высылали в волостные правления. На фабрике объявили новый набор рабочих.

На помощь губернским властям и господскому дому пришли попы.

Колокольный звон сзывал «паству» в церковь, с амвона лились проповеди о «незаконных поступках православных» и «грядущих господних наказаниях за неисполнение государственных законов». Попы, поставившие на служение штыку и плетке слово «божие», играли самую подленькую роль в подавлении стачки.

Но казармы отвечали гневом:

— К чорту! Не пойдём!

Утром над слободкой завыл пронзительный гудок. К воротам фабрики потянулись одиночки.

Семьи не вышедших на работу, арестованных спешно выселялись из хозяйских домов и казарм. Хозяйский «квартирмейстер» подъезжал к квартире на двух-трех подводах, сваливал на них пожитки рабочего и молча вывозил все в поле, за черту вотчины.

Так штыком, крестом и казацкой плетью подавили стачку.

Сотни безработных, оставшихся без крова и хлеба, потянулись из Гуся в разные уголки российской империи, а в Гусь шли новые рабочие из деревень...

Аресты продолжались и после забастовки. Хрустальный король мстил. Двадцать три человека арестованных рабочих передали «в распоряжение помощнику владимирского жандармского начальника ротмистру Зворыкину для производства дознания».

Еще задолго до суда «министр внутренних дел постановил лишить всех обвиняемых в подстрекательстве рабочих к беспорядкам и забастовкам» права жительства в «Ярославской, Тульской, Тверской, Нижегородской, Костромской, Екатеринославской, Варшавской, Рязанской губерниях и в городах Ростов-на-Дону, Нахичевань, Николаев, Елизаветград, Харьков и Одесса»<sup>1</sup>.

Через несколько месяцев судили.

Фабричный инспектор Свирский, потирая руки от предстоящей награды, писал департаменту торговли и мануфактур: «Окончилась гусевская забастовка, не добившись уступок ни по одному из своих требований, и работы возобновились на тех же условиях, на которых были прекращены...»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Архив канцелярии владимирского губернатора.

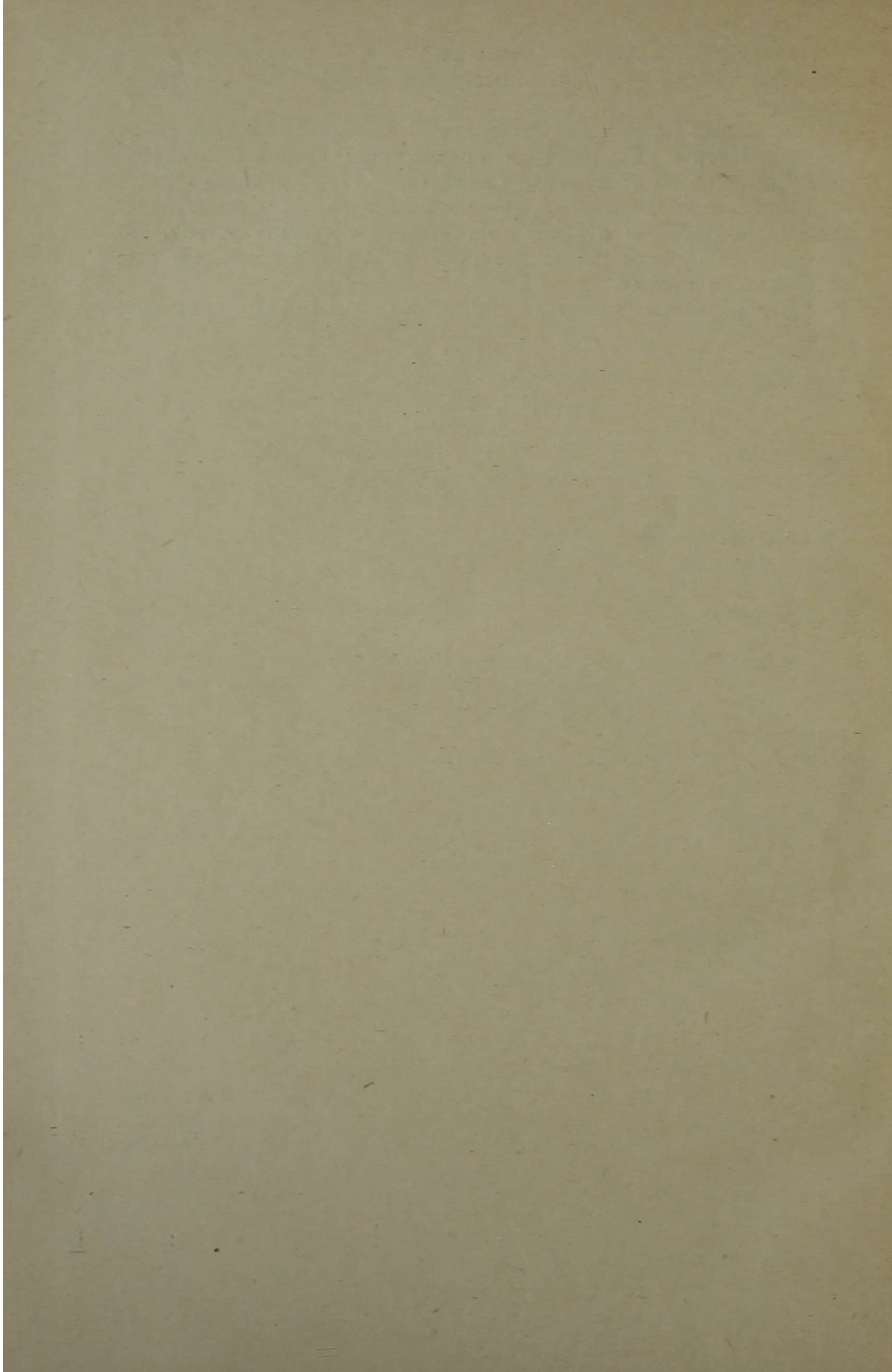
<sup>2</sup> Архив старшего фабричного инспектора за 1898 г., наряд XVII, дело № 3, лист 34.

Полицейские власти и исправник Розанов получили «благодарность за отличное выполнение возложенных на них поручений».

Столичный хозяин — хрустальный король Нечаев-Мальцов ликовал. Путь к дальнейшей наживе и эксплуатации был свободен. Английского аристократа, директора Эджа, и управляющего Андреева-Туркина вежливо убрал с глаз фабричных, сделал их доверенными в своих торговых представительствах. Но на их места пришли новые доверенные, новые сторожевые псы хрустального короля.

Но и в рабочих каморках зрела сила для новых грядущих боев.

---



## Содержание

### I

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| <i>М. Бритов.</i> Максим Горький. Стихи. . . . .                 | 3  |
| <i>Дм. Семеновский.</i> Бессмертное слово. Стихи. . . . .        | 7  |
| <i>А. Благов.</i> Буревестник. Стихи. . . . .                    | 9  |
| <i>Дм. Семеновский.</i> А. М. Горький. Письма и встречи. . . . . | 11 |

### II

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| <i>А. Благов.</i> Стихи:                     |     |
| Наш город . . . . .                          | 66  |
| Выходной . . . . .                           | 67  |
| Домой . . . . .                              | 67  |
| Песня ткачей . . . . .                       | 68  |
| Солнцем радости согрета . . . . .            | 69  |
| <i>Мих. Шошин.</i> Рассказы:                 |     |
| Сестры . . . . .                             | 71  |
| Песня . . . . .                              | 75  |
| Счастье старой матери . . . . .              | 79  |
| <i>Дм. Семеновский.</i> Стихи:               |     |
| Мать . . . . .                               | 84  |
| Урожай . . . . .                             | 85  |
| <i>В. Полторацкий.</i> Стихи:                |     |
| Приближение весны . . . . .                  | 86  |
| Август. . . . .                              | 87  |
| <i>А. Князев.</i> Мужество. Пьеса . . . . .  | 89  |
| <i>В. Курбатов.</i> Стихи:                   |     |
| На Восток . . . . .                          | 99  |
| Дружба . . . . .                             | 100 |
| <i>М. Дудин.</i> Два стихотворения . . . . . | 102 |
| <i>М. Бритов.</i> Песня . . . . .            | 103 |
| <i>Вл. Кудрин.</i> Стихи:                    |     |
| Дальний Север . . . . .                      | 104 |
| Эрдж-Кинез . . . . .                         | 105 |

### III

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>В. Азин и А. Сонин.</i> Хрустальный Гусь. Из прошлого Гусевского завода . . . . . | 107 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Редактор издательства *Д. Г. Прокофьев*. Технический редактор *В. П. Федоров*. Корректор *Н. А. Смирнова*. Художник *В. Н. Говоров*.

\*

Сдано в набор 16/VI 1938 г.  
Подписано к печати 14/1  
1939 г. Тираж 3 000 экз.  
Изд. № 2. Инд. X—4в.  
Уполн. Ивобллита № В—2502.  
Бумага 60 × 88<sup>16</sup>/<sub>16</sub>. Печ. л.  
10<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Бум. л. 5<sup>3</sup>/<sub>8</sub>. Учетно-  
авт. л. 11,35. В бум. л. 92512 зн.

\*

Типография издательства  
Ивановского облисполкома.  
Иваново, Типографская, 4.  
Заказ № 4815.

\*

Цена 3 руб. 65 коп.  
Переплет 1 руб.









4 руб. 65 коп.

